

18+

# ТЕЩА

ВИКТОР УЛИН

ИСТОРИЯ ОДНОЙ СТРАСТИ



Виктор Улин

**Теща. История одной страсти**

«Издательские решения»

**Улин В.**

Теща. История одной страсти / В. Улин — «Издательские решения»,

ISBN 978-5-00-606402-7

Потрясающий неприкрытой искренностью рассказ о чувственном взрослении в СССР. Судьба человека, пронесшего сквозь годы привязанность к своей первой женщине, не раз поддерживавшей его на опасных поворотах. На протяжении тридцати пяти лет мы видим эволюцию его жизни, вместе переживаем и вместе радуемся. История героя нетипична, но реальна, персонажи являются отражением советского времени в личностях, не желающих мириться с повседневностью.

ISBN 978-5-00-606402-7

© Улин В.

© Издательские решения

# Содержание

Часть первая	6
1	6
2	11
3	13
4	14
5	16
6	17
7	18
Часть вторая	21
1	21
2	24
3	26
4	29
5	31
Часть третья	32
1	32
2	37
3	38
4	40
5	44
6	45
7	47
8	51
Часть четвертая	53
1	53
2	57
3	63
4	65
5	67
6	72
7	73
8	75
9	79
Часть пятая	83
1	83
2	85
3	90
4	94
5	97
6	99
7	101
Конец ознакомительного фрагмента.	106

# Теща История одной страсти

**Виктор Улин**

*Изабелле Семеновне Г.*

*Дизайнер обложки Виктор Улин*

*Фотограф Виктор Улин*

© Виктор Улин, 2023

© Виктор Улин, дизайн обложки, 2023

© Виктор Улин, фотографии, 2023

ISBN 978-5-0060-6402-7

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

**«Ибо много жертвенников настроил Ефрем для греха  
– ко греху послужили ему эти жертвенники.»**

**(Ос. 8:11)**

*Огромный плоский экран ЖК-телевизора почему-то оставался завешенным.*

*Не вчетверо сложенной простыней или какой –нибудь тряпкой – на него был аккуратно надет штатный транспортировочный чехол.*

*Телевизор давно вышел из срока гарантии. Но мой тесть, человек основательный и предусмотрительный, никогда не выбрасывал старых упаковок: размер кладовки позволял хранить гору макулатуры, а в нынешние времена наличие коробки упрощало продажу для обмена на новую технику. Ничего, даже вконец устаревшего, тесть никогда не выносил на помойку.*

*Сам я выбрасывал из дома любую мелочь в тот момент, когда она становилась ненужной. Но каждый человек имел право на свои привычки.*

*Тем более, сейчас этот чехол из тонкого поролона не бил наотмашь так сильно, как полотенца, привычные на зеркалах в прежние времена.*

*Едва я успел о том подумать, как какая-то старая женщина, бормоча о несоблюдении традиций, стащила конверт с телевизора.*

*Так искони полагалось у населения, привязанного к вековому укладу, который строго регламентировал процедуру отхода в лучший мир.*

*Главными пунктами там были завешивание зеркал, мытье полов чужими людьми после выноса тела и снятие завес перед началом языческого ритуала, именующегося поминками, по возвращении с кладбища.*

*Экран телевизора качнулся и открыл свою безнадежную, бездонную черную пустоту.*

*И теперь уже ничто не напоминало ни о чем.*

## Часть первая

### 1

Мне трудно вернуться в состояние подростка, из 2008 года переместиться обратно в 1972-й. Мешает взрослое знание, не позволяющее стереть информацию и попытаться еще раз прожить жизнь с чистого листа, пусть даже по известному тексту.

Попытка подобных воспоминаний со стороны зрелого состоявшегося мужчины в расцвете жизненных сил, каковым являюсь я в свои 49 лет, может показаться недостойной.

Многие люди, чего-то достигнув, начинают стыдиться своего прошлого, своих детских и отроческих привычек. Пытаются доказать всему свету – и прежде всего самим себе – что они сразу появились в нынешнем качестве.

Но как раз это и является недостойностью для умного человека. Все мы родом из детства в том смысле, что пристрастия ранних времен накладывают отпечаток на дальнейшую жизнь.

По крайней мере, относительно самого себя я вижу так и ничего не стыжусь. Хотя многие на моем месте открестились бы от многого.

И я попытаюсь отключиться от своего без одного года пятого десятка и уйти назад на тридцать шесть лет.

Только перед этим я не могу с нынешней высоты не вспомнить общую ситуацию в отношении главного состояния, которая владела нами тогда.

Да, сейчас я понимаю, что все, о чем хочется вспомнить, в самом деле является главным.

Оно принадлежит настоящему и освещает каждый миг бытия. Ведь настоящее – это сама жизнь.

Это понятно всем сейчас. Но во времена моего детства и отрочества настоящего как бы не существовало.

Злобой дня довлело будущее – недостижимое, как дуга радуги.

Или как «колеса *Иезекииля*», которые мне однажды довелось увидеть над городом в сырой и морозный зимний день.

Для всей страны и ее жителей будущим был химерический коммунизм.

Для моих сверстников личное будущее членилось, распадалось на этапы достижения.

В мой 1973-й год будущим являлся отличный аттестат за восемь классов и переход из микрорайонной школы №9 – где учились дети всех возможных отбросов общества – в городскую математическую №114.

Это требовало определенного напряжения сил на достаточно длинном отрезке времени. В стране победившего социализма – в отличие от нынешнего разорванного времени – царил железный принцип: будущее следовало создавать с нуля, от начала координат своей беспредельной жизни.

Строя жизнь едва ли не с детского сада, человек обеспечивал будущее до могильного холма – если, конечно, не высовывался дальше дозволенного. Но высовывались только дураки, поскольку не имело смысла высовываться, когда имелась возможность без всякого напряжения провести жизнь безбедно.

Впрочем, об этом хватит. На данную тему писано многими, гораздо лучше, нежели мною.

Я вспомнил о другом.

Мне хочется восстановить свое подростковое состояние, хотя я сам не знаю, зачем это нужно. Но, видимо, зачем-то нужно, иначе не возникло бы самой потребности.

Итак, попробую начать точно по смыслу.

В 1973 году – 56-м после Октябрьского переворота, 28-м после победы, которая на самом деле обернулась поражением, 12-м после полета Гагарина – бессмысленного и безрезультатного, как вся советская космическая программа, за десять лет до смерти Брежнева – самой отвратительной мрази, которая когда-либо правила Россией...

Через 181 год со дня рождения и спустя 117 лет после смерти Николая Ивановича Лобачевского – единственного великого русского математика – все было иначе, чем сейчас.

Совершенно иначе, до такой степени по-другому, что сейчас в это трудно поверить.

Я был мальчишкой; все мы были мальчишками, почти никто не выбивался из общей массы.

В том смысле, что нами владела мысль о будущем, владевшая движением жизни.

А все остальное оставалось за бортом.

Ну не то, чтобы совсем за бортом, но...

Но давалось мелким шрифтом, как принято делать в серьезных математических учебниках, где автор отвлекается от общей темы, определенной названием главы. Места, набранные мелким шрифтом, говорили: хочешь – читай, не ленись и разбирайся, не хочешь – не читай и ничего не потеряешь.

Во всяком случае, так воспринимал жизнь я – целеустремленный мальчик, сын образованных интеллигентных родителей, готовивших мне такое же образованное интеллигентное будущее, коему подходу я нисколько не противился. Точнее, даже сам рвался вперед.

Под «*мелким шрифтом*» я подразумеваю все, что существовало независимо от победившего социализма, и грядущего вот-вот коммунизма, от устремлений человека в будущее, от будущего и от человека вообще.

То есть природу, которая развивалась в каждом из нас. И во мне в том числе.

Внутренние метаморфозы, которые начинались неожиданным образом, принимали странные формы и удивляли результатами едва не каждый день.

Думаю, нетрудно догадаться, что я веду речь о половом взрослении.

Эта тема, как само явление, находилась на полях жизни – точнее, на обороте ее листа.

Если в СССР официально не существовало секса – как заявлялось лет через двадцать после описываемых мною событий – то в нашей образцовой инженерно-бухгалтерской семье его не могло быть и подавно.

Я не догадывался – точнее не задумывался о таких деталях бытия. Но теперь, с позиции нынешнего возраста, прихожу к убеждению, что в те годы мои родители природным делом уже не занимались.

Сейчас я понимаю, что коммунизм и отвергнутое им христианство имеют больше сходств, чем различий. Говоря привычным математическим языком, у них общая аксиоматика, хоть и употребляемая на разных уровнях. Большевики и церковники соотносятся между собой примерно как теорема Крамера о решении линейной системы с квадратной матрицей и альтернатива Фредгольма для линейных операторов в гильбертовом пространстве.

Объяснять не вижу смысла, интересующиеся могут заглянуть в Канторовича и Акилова или даже понять это тезисно, посмотрев нужные статьи в математической энциклопедии.

Впрочем, меня куда-то понесло; я словно начал читать трижды осточертевший курс математического анализа студентам университета, которым он трижды не нужен, поскольку в их возрасте интересует одно: кому или перед кем – в зависимости от пола – раздвинуть ноги. Но они натужно собрались на лекцию первого сентября, сидят в душной аудитории, оставив за окнами еще живое лето, и жадно рассматривают друг друга, делают априорные оценки. А я – старый дурак с седеющими висками – стою у доски и нудным голосом объясняю полную структуру предмета, на три семестра вперед. Когда-нибудь – в общем довольно скоро – из общей биомассы вычленился человек десять, которым математика окажется до определенной степени интересна, ради них-то я и стану читать все дальнейшее. Однако это случится позже, а сей-

час еще никому ничего не нужно и с наибольшим смыслом стоило бы свернуть эту лекцию, распустить всех по домам и койкам, а самому идти в буфет пить кофе, поскольку мне платят не за проведенные пары, а по установленной нагрузке. Но я так сделать не могу, меня прижмет к ногтю учебная часть, поэтому я тяну время, говорю что попало и искоса поглядываю на часы, которые по-старомодному ношу на запястье.

Так, конечно, не стоит вести воспоминания о серьезных вещах. Поэтому поясню мысль кратко: и у христиан и у коммунистов секс был допустим в браке – как неизбежное зло для продолжения рода – но не более того.

Мои родители, полагаю, подходили под это определение.

Ну и, кроме того, на изыски, которые могли быть в молодости, к периоду моего детства у них не осталось сил.

Мать родила меня поздно – в тридцать с лишним лет – а отец был старше ее еще на восемь.

Работа при социализме не измочаливала людей до состояния оберточной бумаги, но на женщину нагрузка была куда большей, чем сейчас.

Ведь тогда не существовало ни посудомоечных машин, ни приемлемых стиральных, а из средств для мытья стекол, существовал лишь синий «Нитхинол» в бутылочках.

Работая бухгалтером на огромном оборонном заводе – каких в СССР имелись сотни, если не тысячи – моя мать на протяжении трех десятков лет вставала в полседьмого утра. Ей требовалось приготовить для всех завтраки, привести себя в порядок и успеть на общественном транспорте к проходной до закрытия турникета. Не думаю, что при таком ритме – к которому добавлялись перманентные хлопоты по раздобыванию продуктов и ручная стирка белья – у нее оставалось много сил на интимную жизнь. Или хотя бы желание на таковую.

Что касается отца – начальника отдела в таком же громадном НИИ, каких уж точно были тысячи и тысячи – то про него не могу сказать ничего. Но я уверен, что и он про эту сторону бытия забыл вскоре после моего рождения.

Вообще говоря, углубившись сильнее, чем требуется, хочу коснуться еще одной глобальной темы.

Советские люди были задавлены «моральным кодексом строителя коммунизма» – большевистским аналогом христианской химеры целомудрия; нам насаждалось убогое мировоззрение, поверхностное и пустопорожнее, как «Марш энтузиастов». Но тем не менее люди – по крайней мере, определенная часть незабитых и незашоренных – все-таки жили. И, порицаемые на партсобраниях, в СССР все-таки тайным цветом цвели адюльтеры.

В последнем я теперь не сомневаюсь.

Ведь советский народ медленно прирастал. А отношения, определяемые штампом в паспорте, прироста дать не могут: нормальный мужчина, пока находится в пригодном состоянии, сознательно не желает детей. Ну, хотя бы бессознательно стремится препятствовать чрезмерному деторождению в упорядоченной интимной жизни. Излишние дети появляются лишь как плата за секс ради секса, в котором совершаются ошибки ненужной продуктивности.

Сейчас я твердо убежден, что человечество до сих пор не вымерло лишь благодаря внебрачным межполовым отношениям.

Впрочем, я сильно отклонился от асимптоты, тем более что у меня-то все было иначе: мои собственные дети возникли почти сознательно, хоть я не совершил прироста, а лишь вышел в ноль.

Заговорил я об адюльтерах лишь потому, что сейчас подумал об отце и спроецировал свои нынешние знания на времена моего детства.

Уже тогда я откуда-то знал, что у них на работе хватало молодых женщин и при желании он мог получить все недостающее.

Но теперь я понимаю, что отец ничего не получал.

И это побуждает назвать его советским социалистическим дураком.

Впрочем, умным отец не казался мне даже в детстве, равно как и мать – они были два сапога пара.

Отец с матерью жили довольно дружно, поскольку зарплаты имели не самые маленькие, а вредных привычек не имели. Никаких нескромных мыслей применительно к ним у меня не возникало.

Щекотливая тема интимной жизни в нашем доме стояла под негласным запретом. Ни один из родителей не пытался взять на себя ответственность сделать что-то если не для воспитания, то хотя бы для информирования меня в процессе непонятного взросления.

В нашей семье – как в подавляющем большинстве советских ячеек общества – все было пущено на самотек.

В качестве примера *«просветительной беседы»*, касающейся семейной жизни, я помню слова, однажды сказанные матерью:

– Когда люди долго живут вместе, они привыкают друг к другу и общие черты переходят в детей, которые появляются тоже от привычки.

При таком положении дел недостающую информацию я получал сам.

Сейчас у всех есть возможность быстро выяснить любой интересующий вопрос.

В моем мальчишестве такого быть не могло.

Я не говорю об элементарной порнографии, дающей информацию о чем угодно: за нее в те годы предусматривалась статья.

Даже само устройство противоположного пола оставалось тайной за семью замками.

Это было так, хотя в наше время утверждение покажется диким.

Правда, и тогда существовали фильмы *«про любовь»*. Французские, нудные, которые нравились только девочкам. Но и там лишь пару раз целовались, потом в лучшем случае вели философские беседы в постели, укутавшись по горло, а в худшем мерк свет и начинался другой эпизод. Сейчас всем известно, что советские партийно-культурные органы заставляли вырезать из импортируемых фильмов все сцены, где виден хотя бы край женского соска. Или женский зад, про который ясно, что на нем нет трусов.

В преимущественном положении оказывались жители больших городов, где имелись картинные галереи: там можно было посмотреть устройство женского тела в художественном воплощении. Почти тем же могли похвастаться дети из семей, владевших иллюстрированными альбомами по живописи. И уже совсем невероятными счастливыми казались те из нас, чьи родители были медиками, и в домах имелись книги с точным изображением и описанием всего, что нужно. Но таких среди моих друзей не имелось. Точнее, друзей у меня не было вообще.

Да, как ни странно это прозвучит, я никогда не любил общаться со сверстниками, людям я предпочитал книги.

Их в нашем доме имелось достаточно: дед с материнской стороны оставил обширную библиотеку, что в те годы было явлением довольно редким, поскольку уже с первых лет моей жизни книги стали дефицитом.

Но по существу к делу это не относится.

Ведь дедовы книги были художественными, из справочных имелась лишь 50-томная синяя *«Большая Советская Энциклопедия»*, где все без исключения темы освещались под коммунистическим углом зрения и усеченно.

Я подробно вспомнил то время и свою семью, чтобы отметить, что тогда не имелось ничего для получения информации о самой главной стороне жизни.

Пожалуй, пора приступить к содержательной части.

Но должен оговориться, что, нырнув в глубины памяти, я перестаю быть математиком. То есть не строю временной ряд динамики, не пытаюсь расставить даты и в каждой точке определить свой возраст, когда происходили те или иные события.

Я просто вспоминаю яркие моменты, особые точки и точки перегиба, хотя и пытаюсь излагать все в правильной последовательности.

## 2

До всего самого важного мне приходилось доходить самостоятельно.

Прежде всего, ближе знакомиться с собственным организмом, отмечать его метаморфозы.

Помню, как испугался я, обнаружив, что на моих руках, доселе гладких, вдруг начали расти волосы. И смешно признаться, но вначале я даже пытался их вырывать, потому что они казались неэстетичными.

Появление волос совпало с загадочными переменами той части тела, предназначение которой было однозначным с детства.

Описывать не имеет смысла; подробности помнит любой мужчина, а женщинам это неинтересно.

Вспомню лишь пару эпизодов, которые остались как ступени к моему собственному пониманию проблемы.

В мои времена – как, наверное, и в любые – по школе гуляли волны повальных увлечений. Тем более, что в первой моей школе свободного времени было хоть отбавляй.

Эпидемии неучебных занятий отличались разнообразием.

То все плели «кукурузы» из тонкого провода, вставляли туда иголки и кидались ими друг в друга.

То делали бумажные «бомбы», наполняли их водой и бросали из окон в гуляющих по школьному двору малышей.

То жевали промокашку и стреляли ею через трубочки от опустошенных шариковых ручек.

В какой-то момент нас захлестнула волна татуировок. Они, разумеется, были не настоящими, их просто рисовали ручкой. Темы преобладали стандартные, из мальчишеского набора начала семидесятых: звезды, танки, самолеты.

Однажды в туалете – над вонючим желобом для отправления малой нужды, где мы встречались каждую перемену – отвязный парень по фамилии Дербак расстегнул штаны и удивил всех.

Предмет, не предназначенный для всеобщего обозрения, у него был покрыт звездочками синих, черных, красных и зеленых цветов.

Показав украшения, он сделал нечто, сути чего я не понял.

Меня лишь поразил факт, что у дебила имелась редчайшая по тем временам ценность, четырехстержневая шариковая ручка.

По слухам, после школы этот Дербак стал профессиональным уголовником.

Второй случай произошел чуть позже.

Я играл с мальчишками во дворе, что само по себе являлось делом редким, ведь основную часть времени я проводил дома, на улицу меня было не выгнать.

Но тот день вышел из разряда обычных, я спустился во двор. Мы собрались на стройке около кучи песка. И – за неимением источника для подражания типа звездных войн или какого-нибудь американского семейства XXI века – стали играть... в общественный туалет.

Набрав ржавых стальных уголков, неровно обрезанных сваркой, мы соорудили желоб, как было принято тогда в бесплатных заведениях страны.

Нас было человек пять или шесть.

Сложив сток и придав ему уклон, мы решили испытать устройство. То есть по очереди туда пописали. Стояла жара, нам хотелось пить, а не писать, слабенькие струйки пропали между стыков без следа.

Тогда кто-то нашел отрезок водопроводной трубы, набрал туда песку, зажал себе между ног и обрушил содержимое в желоб.

Все понравилась идея; остальные тоже вооружились трубами и начали «*Исать*» песком в туалет.

Но один замухрыжистый парень, сын дворничихи-то ли Колька то ли Толька – трубы не искал. Просто спустил штаны и выставил низ живота над желобом, чтобы все по очереди обсыпали его песком. И стоял так с мерзким, блаженным выражением на лице.

Пришедшие строители не дали довести игру до конца.

Хотя сейчас я уверен, что в итоге понял бы нечто серьезное.

### 3

Понимание пришло само по себе.

Совершенно внезапно и немотивированно – во время сна, как у всех порядочных, неразвращенных мальчиков из хороших семей.

Этот эпизод, пожалуй, стоит того, чтобы его конспективно описать.

Ко мне явились странные видения в которых присутствовала женщина – точнее, девочка – личность которой осталась неясной. У нее отсутствовало лицо, не имелось даже тела, не имелось вообще ничего реального, привычного в обычной жизни. Но она была существом определенно женского пола, которое растворилось в нереальности сна и обволокло меня с ног до головы незримым сильным присутствием. Все это сопровождалось сладостными томлениями, от которых я летел к облакам. Наслаждение нарастало с такой силой, что я готов был во сне потерять сознание. Но не потерял – просто проснулся от того, что как-то нехорошо обмочился.

Факт не укрылся от матери, утром она поинтересовалась, что произошло.

– ОпИсался, – честно признался я. – Но как-то странно. Я не знаю...

– Ничего страшного, Алеша, – спокойно ответила мать. – В тебе начинают работать всякие желёзки, и это нормальное явление.

Фраза прозвучала кругло, в ней было не за что зацепиться дальнейшими вопросами; ничего более конкретного я не услышал.

Думаю, мать просто не знала, что говорить в подобном случае.

Хотя, забегая на целую жизнь вперед, должен сказать, что мы с женой на эти темы с сыновьями не разговаривали вообще.

Ведь сейчас иное время: некупированность и общедоступность информации позволяют каждому человеку прояснить жгучие тайны самостоятельно. Тем более, что тонкий вопрос лучше решать без посторонних, а единой истины не существует, есть лишь набор индивидуальных точек зрения.

Но в дни мои детства все было иначе. Узнать что-то существенное было негде, убогий журнал «Здоровье» лишь учил мыть руки перед едой – но не после! – и безграмотность родителей могла исковеркать жизнь.

В этом отношении можно сказать, что лично мне с родителями не повезло. Впрочем, сверстников, которым повезло, я не знаю.

Та ночь меня потрясла, а утро затуманило бессмысленным материнским ответом.

Я даже подумал, что происшедшее случайно и однократно.

Но сны стали повторяться. Через некоторое время я стал ожидать их каждую ночь – заранее себя настраивал и почти всегда видел что-то из этого разряда.

Довольно скоро я понял, что все эти сладкие – «сладострастные», хотя термин я узнал позже – сновидения вызывают вполне реальный результат, всегда одинаковый.

Раздражало лишь одно: сколь бы ярким ни оказывалось сонное действие, оно всегда обрывалось в самый неподходящий момент, разрешалось без моего участия и не давало прочувствовать до конца.

## 4

И вот однажды, ложась спать, я подумал – а почему, собственно говоря, не попробовать вызвать все то же самое наяву?

Я с нетерпением дождался, пока уснут родители в спальне нашей двухкомнатной квартиры, и приступил к действиям.

Действовал я вслепую, опасался не только издать лишний звук, но даже дышать сильнее обычного: моя маленькая комнатка не имела двери. Я уже не помню, по какой причине она исчезла, события происходили в таком раннем детстве, что от них остались лишь какие-то волнообразные картинки. Но я знаю, что с дверью что-то случилось еще при моем деде, а отец потом не удосужился поставить новую, повесил занавеску на проем.

Подробно расписывать все, что я делал и к чему это привело, я не вижу смысла.

Процесс известен каждому нормальному мальчишке – да и девочки, я полагаю, в общей массе не чужды чему-то подобному.

Жена, правда, мне ни о чем таком никогда не рассказывала, но я кое-что понял из слов другой девочки.

Выскажу лишь свое мнение, прочувствованное и сформулированное на этапе зрелости.

Умение получать высшее наслаждение от собственного тела является важнейшим для развития человека в том возрасте, когда иные способы недоступны.

Удовлетворение самого себя столь же полезно, как и порнография всех уровней.

Да, и она тоже, сколь бы ни странно звучали такие декларации из уст взрослого мужчины.

С порнографией борются лишь ханжи и асексуалы. Если бы она не являлась важнейшей компонентой чувственной культуры человечества, то не просуществовала бы с древнейших времен до наших интернетских дней, при непрерывном совершенствовании и растущем разнообразии мировых порноресурсов.

Ведь сексуальные ощущения являются смыслом жизни всех живых существ.

Сейчас, по опытам жизни, самоудовлетворение видится мне единственным способом пройти подготовительный период без потерь, потом заменить его полноценным сексом и больше не вспоминать. По крайней мере, у меня получилось именно так.

Я твердо уверен, что это искусство должно стоять в перечне важнейших дисциплин школьного курса. И, пожалуй, даже выше, чем умение выжить при пожаре или найти дорогу из леса. Я уж не говорю о таких никчемных предметах, как история или органическая химия.

Но медиками это занятие всегда осуждалось, педагогами считалось постыдным.

Общественной моралью до сих пор заведуют какие-то старые кошелки в вязаных кофтах, чьи интимные места, вероятно, заросли, не успев побывать в использовании.

А меня – доктора физико-математических наук, заведующего сектором стохастического моделирования Института математики регионального научного центра АН РФ, по совместительству профессора кафедры математического моделирования местного университета, уже в сорок лет имевшего шестерых защитившихся аспирантов – меня в этом вопросе никто не слушает.

И от теоретических рассуждений пора вернуться к воспоминаниям.

В самый последний момент я сжал зубами край одеяла, чтобы отключившись, криком не разбудить мать.

Если бы мне в тот момент предложили альтернативу: жить дальше, ожидая неизведанных радостей, или умереть сейчас от переизбытка удовольствий-то я выбрал бы второе.

Я вел насыщенную жизнь. Правда, она была наполнена пустячными хлопотами: борьбой за оценки по предметам, из которых почти все – типа истории или биологии – меня не интересовали, и противостоянием с одноклассниками, дебильными детьми таких же дебилов родители

лей. Разумеется, с детства являясь не дураком, а математиком, я понимал, что взрослая жизнь может подарить взрослые удовольствия, в тысячу раз более сильные, чем сейчас.

Но они оставались далеко впереди.

А эти были тут и не требовали ждать.

И я понял, что открыл себе ворота в рай.

Вытерев липкий живот, я перевернул одеяло мокрой стороной вверх, зная, что к утру ничего не будет отличаться от следов ночных видений.

Я уснул совершенно счастливый, упоенный предчувствием, случившееся виделось началом большого пути.

## 5

Исследователь от природы, наутро я понял, что хочу более досконально изучить свое тело.

Но, разумеется, это стоило производить при свете дня и не опасаясь родителей: я ничего не знал о предмете, но подсознательно понимал, что непристойность будет подвергнута осуждению.

Хотя – опять-таки с позиций взрослых знаний – я понимаю, что нет ничего более глупого, чем осуждать мальчишку, запершегося в туалете. Или девочку с круглым зеркальцем на кровати.

В пятницу у нас было всего четыре урока и я возвращался из школы на два часа раньше матери.

Зная, что все ненужное случается в неподходящий момент, я задвинул пуговку французского замка на случай, если кого-то из родителей принесет до срока. Я мог сослаться на то, что задел ее случайно, снимая куртку в передней.

Раздеваться полностью я не стал, прошел в родительскую комнату к материнскому шифоньеру, который имел большое зеркало.

Об опыте исследования я мог бы сейчас написать добрый десяток страниц.

Но подобное в той или иной мере испытал каждый мужчина, Америки я не открою.

Я рассматривал себя и так и сяк и этак, и в итоге, конечно, перестарался. В тот год, при минимальном уровне чувственного управления своим телом, конечно, много и не могло произойти.

Потом, помывшись в ванне, я похолодел: ковер родительской спальни, где я плясал босиком перед зеркалом, был светлым; испачканный, он выдал бы меня с головой.

Однако я везде стремился доходить до самой глубины.

Рисковать я не мог, наслаждаться уже умел, мне требовалось изучить суть явления.

Все обдумав, я решил использовать чердак соседнего дома.

## 6

Он стоял на краю квартала и был невысоким строением насыпного типа, возведенным еще в военные времена. На чердак, не имевший двери, вела простая деревянная лестница; в более спокойные времена хозяева сушили под крышей белье; теперь там собирались подростки с красным вином.

Вот туда-то – благо наступила весна и сильно потеплело – я заглядывал каждый день после школы, ставил увлекательные эксперименты над собой в дальнем углу, загороженном толстыми дымоходами, имеющими форму параллелепипедов.

Научившись делать все сколь угодно быстро, я задался вопросами: как усилить удовольствие, можно ли его приостановить, можно ли продолжить с того же места и с новыми силами?

И то и другое я понял, хотя и не сразу.

И об этом я тоже мог бы написать целый трактат, но это отклонит вектор понимания в сторону от меня нынешнего.

Скажу лишь, что став виртуозом, я научился многому.

Выяснив предел резерва в этих направлениях, я стал искать пути усиления в самом процессе.

## 7

От воспоминаний о тех мальчишеских опытах, мне делается даже не стыдно, а смешно.

И даже кажется, что несолидно вспоминать о том в моем нынешнем возрасте и положении серьезного мужчины, не обремененного извращенными привычками. Но из песни нельзя выкидывать не только слова, но даже звука – и раз уж я решил вспомнить восхождение на вершину знания, то стоит оставаться честным до конца.

Я выяснил, что при знании дела наслаждение можно увеличить механическим способом, примененным как снаружи, так и изнутри. Разнообразие испробованного трудно описать, да и не нужно.

Наверное, узник одиночной камеры при пожизненном заключении менее изобретателен, чем я – приличный советский школьник.

Бывший октябренок, в том момент пионер, будущий комсомолец.

То есть бесполой ленинец от первой точки до последней.

Ту систему мне хочется проклянуть.

Нежизнеспособность советской воспитательной идеологии подчеркивает тот факт, что из подростков семьдесят лет пытались отчеканить павликов морозовых и олегов кошевых – но едва пресс сломался, как все превратились в стадо жвачных гарри поттеров.

О времени своего отрочества вспоминать и трудно и легко.

Надо, конечно, сказать, что рванувшиеся из меня воспоминания грешат уводом в тень двух фактов.

Во-первых, я испытывал жгучий стыд, равного которому по силе не знал ни прежде, ни потом. В те времена господствовало игнорирование половых проблем, детский грех считался занятием порочным, почти преступным. И страшно было подумать, что случится, узнай о моем увлечении мать.

А во-вторых, может показаться, что испытав первое наслаждение, я все жизненное время бросил на одну лишь игру со своим телом. Это было не так.

У меня шла обычная мальчишеская жизнь.

С уроками, дневниками, отлыниванием от физкультуры и всяческими интересными разнообразностями – походами в кино, коллекционированием марок, спичечных этикеток, наблюдением за насекомыми, постройкой моделей и всем подобным, атрибутивным для тех времен.

Я много читал – поглощал дедову библиотеку, что-то откладывая в памяти, что-то пропуская сквозь себя без остатка.

Я вообще интересовался окружающим миром и своим местом в нем.

Просто воспоминания искажают прошлое.

Причина аберрации памяти кроется в том, что взросление организма оказалось приоритетно важным и на какой-то срок перевесило все остальное. С другой стороны, это «*остальное*» шло само собой, подкрепленное свободно доступными знаниями, а изучение метаморфоз собственного тела требовало усилий от меня самого.

Внешне все оставалось на прежнем уровне.

Но в продвижении к познанию тайн я делал семимильные шаги.

Высшими приемами пилотажа я овладел позже. Значительно позже – когда, испробовав все, понял, что необходимо расширить пространство.

В начале пути я просто экспериментировал над собой, не рассуждал о том, для чего все устроила природа, если не для того, чтобы получать ни с чем не сравнимое наслаждение.

И увлекшись, забыл, что впервые оно было испытано во сне при наличии какой-то неосязаемой, но где-то присутствующей женщины. А сейчас первоначало отошло на второй план.

Изощряясь, я забыл думать о ком-то еще, участвующем в процессе.

И не думал, пока не произошел случай из числа тех, которые происходят случайно, но переворачивают мировосприятие с ног на голову – вернее, как раз с головы на ноги.

Случай случился на чердаке.

Однажды, бесшумно пробираясь в свой излюбленный уголок греха, я обо что-то споткнулся.

Точнее, наступил на нечто чужеродное.

Не знаю, что побудило меня нагнуться и поднять с гравийного пола какую-то скомканную тряпку.

И не только поднять но развернуть, внезапно ощутив томительный намек в ее форме и деталях.

Развернув, я обнаружил, что споткнулся о чей-то бюстгальтер.

В просторечии – лифчик.

Этот «предмет женского туалета» – как стыдливо назывались подобные изделия в магазинах СССР – был мне известен. У матери таких имелось несколько штук: розовый, белый, голубой, черный, еще какой-то. Я часто видел их на веревках для сушки белья, зимой в ванной комнате, летом на балконе и они меня не волновали. Материны бюстгальтеры были большими, они напоминали две шапочки, соединенные между собой.

Этот, желтовато-белый, принадлежал маленькой женщине хрупкого телосложения, каждая чашечка не превосходила моей пригоршни.

Бюстгальтер был простым, но изящным – края украшали жесткие кружева, на лямках поблескивали узкие железные пряжки. Правда, застежка оказалась неполноценной: с одного конца оставалось нечто вроде крючка, из другого торчали обрывки ниток.

Я не подумал: почему эта практически новая, хоть и сильно помятая, вещь оказалась там, где вчера ее не было? что делала тут женщина? для чего она снимала лифчик не там, где положено, а на тайном чердаке? кто и зачем оторвал ей половину застежки?..

Ничего этого не пришло мне в голову, поскольку до меня дошел гораздо более важный факт.

Я вдруг сообразил, что за всю осмысленную жизнь не только не прикасался к женской груди, но даже не представляю, как она выглядит и как устроена.

От сознания, что держу чашечки, к которым недавно прижимались настоящие женские соски, мне почудилось, будто пыльная тряпка испускает какой-то тонкий, незнакомый запах. Эта мысль вместе с осознанием вещи, которую никто не трогал просто так, пробила таким умственным наслаждением, что...

Что не стану уточнять.

Уходил я с бешено бьющимся сердцем.

Обычный женский бюстгальтер в моем мировосприятии перепозиционировался. Из скучной тряпки он стал символом, ведущим к единственной истине.

С того момента я знал суть происходящего со мной, цель дальнейшего продвижения и смысл самой жизни.

Все в совокупности выразилось одним словом: женщина.

\* \* \*

*Нет, конечно – обо всем безжалостно напоминала фотография.*

*Увеличенный портрет в деревянной рамке, перечеркнутый черной ленточкой по левому верхнему углу.*

*Фото стояло на серванте – точнее, на полке книжного шкафа около телевизора – а перед ним, накрытый куском хлеба, грустно искрился граненый стаканчик водки.*

*Это входило в традиции.*

*Но я совершенно нехотел думать о том, что Ирина Сергеевна не пила.*

*Не пила вообще, сколько я ее знал.*

*А знал я ее долго...*

*Чтобы уточнить конкретику, мне требовалось вспомнить слишком много в своей собственной, еще не прожитой до конца, но уже частично позабытой жизни.*

*И учесть, что знал я ее не просто по времени, а как мало кто из самых близких.*

*Во всяком случае, я знал Ирину Сергеевну гораздо лучше дочери.*

*Ее дочери, моей жены Нэлли.*

## Часть вторая

### 1

В школе удачно отменили сразу три последних урока: подходила к концу четверть, и учителя – как я понимаю теперь – разленились не меньше, чем ученики.

Я поспешил домой и, не опасаясь раннего прихода матери, даже не защелкивая кнопку, занялся собой.

Помня про родительский ковер, я занимался преступным делом в туалете. Там казалось достаточно уютно, сидеть было удобнее, чем стоять, и не стоило опасаться за кафельный пол, который возвращался в идеальное состояние одним движением тряпки.

Я понял, что фантазия о женщине – безразлично какой, абстрактной – многократно ускоряет результат.

На следующий день уроков не отменяли, по дороге домой я завернул на чердак.

Бюстгальтер покоился под кровлей на дальней балке; я его припрятал сразу, опасаясь, что неизвестная владелица хватится, вернется и заберет. С ним я развлекался в полную силу, но видел лишь отстраненный предмет, который случайно вызвал бурю в моем теле.

Теперь я стал наслаждаться, видя в иллюзиях женщину, которая только что его сняла. Хотя, конечно, ничего особенного я не видел, поскольку реальной обнаженной женщины не видел никогда в жизни, даже в кино или по телевизору: в те времена таких вещей не показывали.

Но я вводил себя в такой транс, что, кажется, даже ощущал ее запах – какого еще и не представлял.

Хотя на самом деле с некоторых пор я стал обонять нечто смутно томящее рядом со своей соседкой по парте, круглоглазой Таней Авдеенко.

Не так давно я зашел в незнакомую парикмахерскую, решив подровняться. Все мастера оказались занятыми, я сел в маленьком холле на диван перед телевизором, где орали и кривлялись под музыку какие-то обкуренные негры. Слева у стены стоял стеклянный шкаф со штабелями краски для волос, батареями шампуней и чем-то еще, соответствующим роду деятельности. Я подумал, что витрина призвана демонстрировать посетителям богатство парикмахерского спектра.

На самом деле жидкости и притирки стояли на виду потому, что в убогом заведении не доставало места для их хранения.

Пока я ждал своей очереди, из зала вышла мастерица, отомкнула дверцы ключом и принялась рыться в поисках коробки с краской для седого старого дурака, который сидел в кресле с видом школьника, намаживающегося к первому свиданию.

У парикмахерши были некрасиво обесцвеченные волосы и узкие бедра, затянутые в джинсы «*унисекс*», на лице лежала печать злой тупости, характерной для представительниц профессии. Таких девиц я встречал среди студенток и даже аспиранток УГАЭС – «*Уральской государственной академии экономики и сервиса*», где я сначала прирабатывал параллельно с университетом, а потом писал за хорошие деньги «*математические главы*» к диссертациям по социально-экономическим дисциплинам. Парикмахерша меня не заинтересовала ни на секунду, но когда она склонилась в шкаф, я увидел, что ее розовая блузка имеет сзади вырез до пояса, демонстрирует кусок спины, перечеркнутый планкой красного бюстгальтера.

Застежка была однорядной и выглядела изящно, к тому же казалось, будто единственный крючок вот-вот расцепится сам по себе. Спина была загорелой: забегаловка имела солярий – и вся картина смотрелась весьма привлекательно.

Минут через двадцать я сидел в кресле, насмерть укутанный пудермантелом, и над моей умной головой колдовала парикмахерша – вульгарная девка с прокуренными руками; возможно, даже эта, в красном лифчике, выставленном напоказ.

Я думал о том, что времена меняются, причем непонятно в какую сторону. Что современный школьник может в любой момент забежать в этот «салон» и налюбоваться бюстгальтером, застегнутым на женском теле – хотя на самом деле он не станет даже смотреть, поскольку видел еще и не то. Например, купальники, едва прикрывающие соски или платья с прозрачной вставкой на боку, позволяющей рассмотреть трусики. Но вопрос заключается в том: более ли счастлив во всеведении мой нынешний ровесник, чем я, ничего на ведающий и оттого воспринимающий мелочи с повышенной остротой?

А воспринимал я их так, что на определенный период чужой лифчик затмил весь белый свет.

Постепенно от реального созерцания я перешел на следующий уровень восприятий.

Когда что-либо не располагало к посещению чердака, я спешил из школы домой и всегда успевал совершить нужное до прихода матери.

Тогда, я конечно, еще не знал истинной природы любых человеческих ощущений: ничто сильное не имеет супремума, достигнутое радует недолго, почти сразу вызывает желание превзойти.

Но уже чувствовал этот закон на себе.

Через некоторое время сила домашних фантазий стала ослабевать, а на чердаке сделалось некомфортно: кто-то нагадил за полу за трубами, осквернил мой заветный уголок, я уже не мог расслабиться там всерьез.

В какой-то момент меня посетила идея захватить любимый предмет домой. Гениальную мысль я откинул: держать дома лифчик чужой женщины было смертельно опасным делом. Тайников у меня не имелось, а в случае обнаружения я бы не сумел извернуться и оправдаться перед родителями.

Но вскоре меня осенило: не обязательно иметь реальный бюстгальтер, можно использовать просто изображение женщины, все нужное домыслить.

Задача решилась на удивление быстро: в родительском серванте среди фарфоровых тарелок и хрустальных ваз стояла статуэтка, изображавшая девушку на коньках.

Грудь у фигурки практически отсутствовала.

Отсутствие бюста компенсировал круглый зад, который торчал из-под развевающейся синей юбочки над очень ровными толстыми ляжками.

Впрочем, в наименованиях я стал разбираться позже, тогда об аппетитных частях тела думал просто «ноги».

Ног разного качества вокруг меня хватало в школе, но сакраментальную привлекательность этих мест я открыл на безымянной фарфоровой фигуристке.

Единственным неудобством оказалось то, что р статуэтку было некуда примостить, кроме как на крышку бачка, брать с собой стул я опасался, а сесть на унитаз задом наперед не удавалось.

Все продолжалось прекрасно, пока однажды я не увлекся до такой степени, что пошатнулся, задел бачок и уронил свою немую партнершу, едва успел подхватить ее в воздухе.

Я понял, что играю с огнем: расколоть фигурку на кафельном полу было проще, чем о том подумать. А объяснения с родителями по поводу разбившейся девушки, которая бежала на своих коньках еще со времен, когда на свете не было моей матери, представляли перспективу не из лучших.

Больше не трогая толстозадую фигуристку, я некоторое время продолжал все то же самое, не видя, а лишь думая о ней. И даже заметил, что фантазия на какой-то срок оказывается более действенной, нежели реальность.

Но потом почувствовал, что опять требуется вещественное, и стал искать нечто индифферентное к падению на пол.

Книг с изображениями полуодетых женщин – ни художественных альбомов, ни журналов по шитью – в нашем доме не водилось.

Фотографии греческих статуй из школьного учебника по истории древнего мира внушали скорее отвращение, нежели вождление.

Оставались газеты – их последняя, спортивная полоса. Всю приходящую прессу поглощал отец, по прочтении складывал стопкой в кладовке. Это объяснялось не намерением перечитать пачкающуюся свинцом «Правду» или «Известия», просто советским школьникам в любой момент могли назначить лихорадочный сбор макулатуры и на этот случай требовались запасы.

Улучая моменты домашнего одиночества, я скрупулезно просматривал номер за номером, находил каких-нибудь голоногих гимнасток или пловчих и, вырвав страницу целиком, использовал женщин на сто процентов.

Бумажные картинки были безопасны; к тому же я без труда мог спрятать их назад в кладовку.

Однако трехмерная фигуристка с объемными формами оставалась куда заманчивее растворов спортсменок, плоских до неразличимости, как сама советская чувственная жизнь.

И порой я сооружал двойную фантазию: глядя на серую ляжку газетной гимнастки, держал перед мысленным взором мощный зад фарфоровой фигуристки и...

Я уже ощущал нечто смутное.

## 2

Весной, в конце не помню какого класса, я получил внезапный подарок.

В нашем городе телевидение шло по двум каналам: по первому давали ретранслируемую московскую программу с фильмами после полуночи, по десятому гнали какую-то «вторую», где смотреть было нечего. Но в тот год экспериментально открылся – и, разумеется, скоро закрылся – третий «городской» телеканал, где шли сюжеты, отличные от выступлений Брежнева на Пленумах ЦК КПСС, репортажей об успехах сельских механизаторов и прочей социалистической шелухи.

Городской канал подхватил новые веяния: скорее всего, кто-то из ведущих узнал, что делается в цивилизованных странах – и ввел телесеансы аэробики.

Само слово было непонятным, хотя означало всего лишь гимнастику с элементами активного дыхания.

Непонятной была и цель показа.

Сеансы длились десять минут и шли ежедневно в двенадцать- тридцать.

Аэробику показывали девицы – разного сложения, но одинаково одетые: в гимнастических купальниках, плотных светлых колготках и черных гольфах.

Про бюсты не помню ничего; вероятно, они были по-спортивному недоразвиты. Еще вероятнее кажется то, что я еще не успел стать ценителем груди: ведь ни у фарфоровой балерины, ни у офсетных фигуристок эти части тел не просматривались.

Но ноги виднелись прекрасно; все десять минут девицы только тем и занимались, что по-разному вскидывали их в воздух.

Время от времени – в зависимости от количества уроков в школе – я успевал к этим сеансам. Особая ценность их была в фиксированном времени и малой длине, почти исключавшей возможность увлечься и быть захваченным матерью.

Я врывался в квартиру, швырял куда-то портфель, включал телевизор, грохоча переключателем находил новый канал.

Самые аппетитные зрелища возникали ближе к концу.

Перед завершением занятий девицы переходили к упражнениям лежа.

Самыми жгучими оказывались позы на спине и особенно на боку.

Гимнастки, подчиняясь неторопливой музыке, сводили и разводили, и вытягивали ноги, туго обтянутые трикотажем и оттого кажущиеся голыми.

При наблюдении я определил самую любимшую из исполнительниц.

Она была чуть более упитанной, нежели другие, имела невыразительное лицо, чуть заметную грудь и толстые, как булки, верхние части ног.

Телеоператору она нравилось не меньше, чем мне; в заключительных упражнениях камера задерживалась на ее теле. Долгие планы демонстрировали ее светлые окорока, кажущиеся более толстыми и более гладкими, чем были, поскольку под коленями начинались контрастные черные гольфы. Гимнастка без эмоций лежала на боку, ноги ее поднимались и опускались, словно крылья бабочки.

С точки зрения современных подростков такое зрелище, конечно, было смехотворным.

Источником моих наслаждений служил убогий черно-белый телевизор, вокруг темных частей изображения слоилась тройная «волна» отраженного сигнала: городской передатчик имел малую мощность. В серых пятнах я скорее угадывал, нежели видел ноги спортсменов.

К сожалению, аэробику прикрыли раньше, чем прекратил существование сам канал.

Уже во взрослом возрасте, я слышал про метод лечения мужчин с нарушениями половой функции: их заставляют смотреть порнографию и достигать пика одновременно с экранными героями.

Я не ставил себе никакой цели, потому что ее не знал.

Когда аэробика прекратилась, мои сеансы с газетными гимнастками подогревались мыслями о телепассии.

Мать с отцом мирно смотрели телевизор, я тихонько запирался в туалете и вспоминал девушку с аэробики.

Мне удавалось, я воспаленно фантазировал о том месте, где у женщины сходятся ноги.

Но почему именно о нем, а не о пупке или, например, о подмышке – я не знал, хоть убей.

### 3

В том, наверное, крылся главный парадокс моего мальчишества.

Мы росли нормальными человеческими темпами, наши гормоны зрели вовремя, мы ощущали функционирование своих органов – но понятия не имели, зачем они нужны.

Подсознательно я догадывался, что природа интереса основана на различии между мальчиками и девочками. А оно – это различие – крылось в том, что прячут даже малые дети в песочнице.

Что именно скрывают мальчики, я знал, поскольку и сам все это скрывал.

Но к своему стыду, доучившись до восьмого класса, я ни разу не видел девочки без трусиков.

До школы я сидел дома, в детский сад не ходил: тогда с нами еще жили бабушка и бабушка. Главный источник первых знаний, появляющихся в момент безопасного восприятия, прошел мимо меня.

Кое-какие элементы женского тела в определенный момент я стал представлять, разглядывая одноклассниц.

Однажды после летних каникул у девчонок обнаружили выпуклости на груди. Кому-то из них повезло больше, кому-то меньше, но кое-чем могли похвастаться все. Эти новые части знакомых тел сделались предметом повышенного интереса со стороны мальчишек.

Надо признаться что и мне порой хотелось потрогать Розу Харитонову, самую заманчивую из всех. Но я долго сдерживался – то ли от нерешительности, то ли от несвоевременности.

Разумеется, грудь имела у каждой из окружающих у меня женщин: от матери до учительниц, даже у пионервожатой Марины. Но, никогда в жизни не прикасавшись к этим местам, я представлял молочные железы твердыми, как камень. Точнее, как гипс на статуе не то пионерки не то колхозницы без весла в детском парке имени революционера Ивана Якутова, располагавшемся недалеко от моего дома.

Когда я наконец очень осторожно ткнул указательным пальцем в Розину выпуклость, то оказалось, что, вопреки моим прежним представлениям, женская грудь очень даже мягкая. Правда, мгновенный ответный удар кулаком по лбу оказался очень жестким и от дальнейшего исследования я воздержался.

Ограничился визуальным наблюдением.

Некоторые девчонки, не обзаведясь чем-то серьезным, обходились без лифчиков – у них на физкультуре через трико проступали соски, очень выразительные на вид. Они казались не гипсовыми, а вовсе железными, но трогать их не решался даже отморозок Дербак.

Грудь, конечно, не являлась единственным привлекательным местом. Тогдашняя мода на мини сделала юбки короче черных фартуков, оголяла ноги так, что то и дело показывалась плотная часть колготок – «*трусички*», которые соединялись с чулками.

Но таящееся там по-прежнему оставалось загадкой.

Распаленный ежедневными упражнениями, в школе я стал тискать взглядами одноклассниц.

С точки зрения шанса познать главную тайну – которую, как я понял позже, наиболее смелые узнавали в безбашенном возрасте – все оставались одинаково неприступными.

Будучи тихим и скромным, я никогда не стоял в рядах секс-символов.

Однако определенные романтические опыты, как ни странно, имел.

Возможно, они были обусловлены тем, что в нашей отвратительной со всех других точек зрения школе №9 все-таки не сильно порицалась дружба с девочками. В любом возрасте и в любых проявлениях. Если в иных мальчишку, не презиравшего открыто одноклассниц,

подвергали обструкции, то у нас такому грозило лишь прозвище «*девчачий настух*» – необидное, порой даже уважительное.

В первом классе – уже не помню, почему – наша учительница Анна Афанасьевна посадила меня на последнюю парту, а в соседки определила Люду Потапову. Незрелую, заторможенную будущую двоечницу с длинными толстыми темно-русыми косами.

У Люды было необоснованно выразительное лицо – не потому, что что-то выражало, а ошеломительное от отсутствия мысли – и огромные глаза. Стоит признать, что больше таких не видел ни разу в жизни, а за четверть века приработков в университете женских глаз я видел больше, чем достаточно.

Но, конечно, в первом классе меня привлекали не Людины глаза, а она сама. Ведь, как я уже говорил, в детский сад я не ходил и никогда не видел вблизи настоящую девочку. Поэтому Людой я был увлечен как новой сущностью в целом.

Я ей тоже чем-то нравился, мы по-детски увлеклись друг другом, даже признавались в любви.

До сих пор помню, как на чаепитии – «*выпускном вечере*» – по случаю окончания первого класса мы с Людой объявили себя женихом и невестой и даже целовались напоказ. Причем по-взрослому, в губы.

Глазастая Потапова, конечно, была пробково глупа и не дотягивала до моего уровня; во втором классе я пошел на повышение.

Меня пересадили ближе к доске, на середину ряда. Соседкой по парте оказалась Света Капитанова.

Эта была умненькой, рыженькой, имела веселенькие веснушки, два тонких хвостика с бантиками и задорную челочку. Всем своим обликом она напоминала мартышку из мультфильма про 38 попугаев; в ней кипела сама жизнь.

Надо ли говорить, что Люду я забыл и влюбился в Свету.

Она ответила взаимностью, весь второй класс мы любили друг друга. Хотя с Капитановой не целовались: возраст уже начал диктовать приличия.

Через двадцать два года после окончания школы я узнал, что волоокая Люда умерла от внематочной беременности, а энергичная Света – от сердечной недостаточности. Или наоборот, что мало меняет суть: девчонки, пытавшиеся хоть на год соединить свою жизнь со мной, кончили плохо.

Правда, неудачными оказались лишь опыты первых двух, остальным повезло больше.

Но остальных было слишком мало для репрезентативной выборки, о чем я вспомню позже.

В третьем классе стало ясно, что я – прирожденный отличник.

Отличник не от усердия и не по призванию, а просто по образу отношения к жизни как таковой.

Меня пересадили к самой доске и в соседки определили Таню Авдеенко.

Эта девчонка с круглыми черными глазами была в меру умной, но без меры болтливой; меня определили к ней для демпфирования как человека сдержанного и молчаливого.

Надо сказать, что выбор оказался правильным. С Таней мы прожили в мире и согласии целых шесть лет, просидели на одной и той же парте, первой в ближнем к двери ряду.

И именно с ней я прошел все эволюции отношений – точнее, восприятия противоположного пола.

Сама по себе Таня была не высокой и не низкой, не полной и не тонкой, не красавицей и не дурнушкой, в общем, среднестатистической девчонкой, в которой есть все, кроме изюминки.

Но она росла и развивалась в непосредственной близости, превращалась из позавчерашней детсадовки в маленькую женщину на моих глазах.

Другие девчонки были привлекательнее, но Таня всегда была рядом, я относился к ней как к своей собственности, часто выручал подсказками на уроках, чему она оставалась благодарна.

На Танином примере я наблюдал великий закон перехода количественных изменений в качественные при сохранении неразрывности времени.

Нет, конечно, я лукавлю, наполняю мировосприятие мальчишки мыслями зрелого профессора.

Ничего я не наблюдал и ни о каких законах не думал.

Просто видел, как меняется соседка, непрерывно изо дня в день, но скачкообразно от класса к классу, порой даже от четверти к четверти после каникулярных промежутков.

Таня развивалась, оснащалась новыми изгибами, под школьной формой у нее начинала вырастать грудь, наливались ноги.

Да, ее ноги менялись с наибольшей производной. И самой ударной из перемен оказалась резкая смена колготок – когда вместо привычных с туманных времен первого класса сероватых рубчатых на ней появились чисто женские.

Золотистые капроновые, причем такие тонкие, что через них были видны царапины на ее коленках, вдруг оказавшихся очень круглыми и очень красивыми.

Думаю, что, колготки у всех девчонок были примерно одинаковы, но Танины казались самыми лучшими. И ее ноги тоже казались лучшими из всех. Вероятно, потому, что она была мне как некая непознанная, но очень верная супруга.

И, кроме того, от Тани часто пахло влажным теплым капроном, чего у других девчонок я не замечал – хотя, возможно, лишь потому, что ни с кем не оказывался близко.

Так или иначе, но в седьмом классе я едва не окосел, пожирая Танины ноги глазами на всех уроках, где это представлялось возможным.

Мне очень хотелось потрогать ее коленку хоть одним пальцем, но я этого не делал, справедливо подозревая, что получу по лбу и от нее. Но смотреть она запретить не могла, хотя замечала мои голодные взгляды.

А вечером, запершись в туалете, я делал с Таней все, что хотел.

Что именно надо делать с Таней, я не представлял.

Процесс размножения живых существ в учебниках биологии ограничивался пестиками и тычинками или делением амёб.

Я завидовал одноклассникам, имевшим сестер; они-то наверняка знали больше моего.

## 4

Движимый тягой к знанию, однажды я совершил акт гнусного святотатства.

Иначе тот поступок поименовать нельзя.

Наша пятиэтажка принадлежала к переходному типу советской архитектуры. Построенный в 1957 году, дом был уже не «сталинским», но еще и не «хрущевским».

Сложенный из хорошего красного кирпича, дом имел трехметровые потолки со старомодными «зализами» по периметру потолка и своеобразную планировку квартир, полутемных из-за узости окон.

Многого из привычного в родительском доме я не встречал больше нигде – например, и в ванной комнате и в туалете были отдельные батареи центрального отопления.

Изначально в квартире стояла газовая водогрейная колонка, которая для притока воздуха требовала окно с жалюзи, выходящее из ванной в кухню. Лет за десять до описываемых событий городские власти произвели капитальный ремонт водопровода и подключили дом к теплоцентрали – что было встречено жильцами без энтузиазма, поскольку газовое оборудование чадило, но работало всегда, а горячую воду отключали на все лето.

Так или иначе, колонки демонтировали и увезли в металлолом, а ненужные проемы в ванных комнатах остались, и хозяева квартир расправлялись с ними каждый по своему усмотрению.

Чтобы из кухни не дуло, мой отец окно застеклил – до сих пор не пойму, почему именно застеклил, а не заделал наглухо фанерой – и с обеих сторон повесил полки для хозяйственных мелочей. Эти полки были забиты всякой дрянью до такой степени, что застекленность не воспринималась.

Однажды, зайдя в ванную сполоснуть руки и не включив лампочку, я уловил слабый свет, пробивающийся из кухни.

И понял, что нашел шанс.

Сомнительный, преступный, но все-таки шанс.

Днем, оставшись без родителей, я тщательно обследовал старое окно и понял что от перестановки хлама внешний вид полок не меняется. Зато, поставив в кухне табуретку, в просвет можно рассмотреть что-то, происходящее в ванной комнате.

Передвигая коробки и флаконы, я экспериментировал с обзором, хотя мало чего добился: окно располагалось так, что сквозь него даже без этих полок был бы виден лишь край чугунной ванны и блестящие краны на стене.

Но все-таки, наметив план, краснея и обливаясь ужасом от гадости замысленного, я дождался субботнего вечера, когда отец прочно засел перед телевизором, а мать пошла мыться.

Бесшумно приставив к стене табурет, я взлетел наверх.

Увидеть удалось еще меньше, чем ожидалось. Можно сказать, почти ничего не увидел – но все-таки преступление оказалось не напрасным.

Я достиг главного: со страшными проклятиями в своей адрес увидел живот голой женщины.

Точнее, голый живот своей голой матери.

Он меня ничем особенным не удивил, поскольку в поле зрения попал лишь пупок. Я отметил лишь то, что живот у матери сильно выпуклый сверху и круто сбегает вниз. В верхней части виднелись тени молочных желез – но, увы, не они сами. А внизу я скорее угадывал, нежели действительно видел основание перевернутого равнобедренного треугольника из курчавых черных волос.

Вот и все, что мне удалось подсмотреть.

Да и вообще, этот треугольник – древними греками именовавшийся «*дельтой*», на самом деле представляющий «*наблу*», знак градиента – я рассмотрел позже. И не на реальной женщине, а на рисунках, о которых еще расскажу. В тот день я увидел лишь полоску волос, обретенную полем зрения.

Может быть, если б моя мать – страшное дело!.. – прежде чем залезть под душ и скрыться из зоны обзора, занялась какой-нибудь гигиеной, поставив ногу на край ванны... Может быть тогда, прежде чем сгореть со стыда, я смог бы разглядеть кое-что существенное.

Но тело матери мелькнуло таким малым фрагментом, что мое неведение не продвинулось ни на шаг.

Правда, в ту ночь, распаленный сознанием того, что подсмотрел свою обнаженную мать, я опять увидел нескромный сон.

Причем в этом сне уже не рассеянно, а вполне оформленным образом присутствовала женщина, чей предмет интереса прятался между ног, хотя имел необъяснимую форму.

## 5

Имелся, конечно, один стопроцентный источник информации, которым беспрепятственно пользовались менее разборчивые мальчишки: опыт сверстников.

В школе с определенного момента обсуждались различные детали, касающихся межполовых отношений.

Некоторые ухари разъясняли процесс «полового акта» – так они именовали то, в чем сами не имели понятия:

– Надо подойти к девчонке поднять платье, снять с нее трусы а потом подергать ее за пипиську...

Что такое пиписька девочки и как за нее дергать, мне было непонятно.

А выяснять и тем более слушать казалось противным, и я обычно уходил.

Я, наверное, считался чистюлей и маменькиным сынком, но меня воротило от таких обсуждений. Хотя более взрослые по развитию ребята – тот же будущий уголовник Дербак – уже имели некий опыт и могли им поделиться.

Но ими я брезговал.

Кроме того, я все время помнил о лежащем на мне страшном клейме.

Я до сих пор не знаю причин, по которым медицина объявляет вредной привычку удовлетворять самого себя. Хотя на мой взгляд, данное занятие более невинно, чем многие официально признанные виды спорта – например, мозгодробительный бокс. Хотя, конечно, спортсмены и так не отличались мозгами, а боксерам и вовсе было нечего выбивать.

Но с детским грехом боролись так жестоко, что после каждого акта самоудовлетворения я ощущал себя преступником, продавшим Родину – последнее в те годы считалось самым тяжким из преступлений.

И даже в среде отпетых мальчишек клеймо «онанист» было позорным, как «педераст» на зоне.

Хотя, как я теперь понимаю, этим делом в тот или иной период жизни грешат все.

Будучи убежденным адептом самоудовлетворения, я опасался проявить себя хоть чем-то и снискать несмываемый позор на свою голову.

\* \* \*

*Сейчас лицо Нэлли, очень свежее для ее сорока семи лет, опухло от слез и расплылось, несмотря на хороший макияж.*

*И наши сыновья, близнецы Петр и Павел, имевшие на двоих больше лет, чем мать, хлопотали вокруг нее.*

*Пашка был три года как женат; его светловолосая Оксана беззвучно сновала вокруг стола, тоже чем-то помогая и что-то поднося.*

*Дед Павел Петрович сидел неподвижно, не спуская глаз с черно-белой фотокарточки на серванте.*

*Я смотрел на него и видел истинного мужчину, отдававшего разнообразиям на стороне, пока хватало сил и куража, но по-настоящему оценившего жизнь лишь ее исходе и особенно с уходом жены.*

*Тестю год назад исполнилось семьдесят.*

*Теща была моложе; фотокарточка относилась к предыдущей декаде, а в гробу она осталась навсегда шестидесятивосьмилетней.*

*Имевшей резервы жить дальше.*

## Часть третья

### 1

Так бы я и продолжал изнывать в одиночестве неосведомленного рукоблудия, не появись около меня мальчик, переведенный к нам из другой школы в последней, четвертой четверти седьмого класса.

Здесь я могу поставить точный временной маркер и даже обозначить год – 1973-й – поскольку дальнейшие события уже строго привязаны к этапам моего вхождения в жизнь.

Сейчас седьмой класс ничем не отличается ни от шестого, ни от восьмого, недостижимо далекими кажутся девятый, десятый и одиннадцатый. В мои времена среднее образование было десятилетним; до восьмого класса все учились на одинаковых условиях, а в последние два переходили лишь желающие учиться.

Нежелающие отсеивались и завершали образование в ПТУ – профессионально-технических училищах, предтечах современных колледжей. Слово «*пэтэуиник*» было синонимом понятия «*отброс общества*»... впрочем, нынешние колледжи от тех училищ отличаются несильно – равно как переименование институтов в «*университеты*» не сделали из них университетов.

Каюсь, меня понесло в педагогические дебри; о ничтожности нынешнего российского образования, от начального до высшего, я могу говорить бесконечно. Вспомнил я про эти ПТУ лишь для того, чтобы обозначить этапный момент в советском среднем образовании. Отсев из школьных рядов происходил по результатам экзаменов, которые состоялись по окончании восьмого класса; экзамены предстояли и после девятого, как репетиция выпуска на аттестат.

Для меня восьмой класс предполагал точку еще более этапную. Я должен был получить идеальное свидетельство об его окончании и перейти в школу №114 – специализированную математическую, соответствующую моим наклонностям. Она являлась единственной в городе, туда после восьмого класса принимали, мягко говоря, не всех. Мне предстояло серьезно потрудиться, чтобы вырваться из своей девятой школы достойно, с отличным результатом.

А вот седьмой класс был последним этапом ничем не омраченного детства: экзамены еще не грозили, годовые оценки выставлялись по корреляции с четвертными, никто из нас ни о чем не волновался, конец учебного года воспринимался лишь как буйство весны в преддверии счастливого лета.

Оно тоже ожидалось последним в абсолютной беззаботности.

И в ту счастливую пору в мой жизни возник Костя.

Приятеля с таким именем у меня не существовало ни до, ни после, он остался в памяти один, навсегда.

Воспитанный в такой же приличной семье, как и я, он тоже сторонился от замороженных школьных компаний, по этой причине мы сразу сблизились.

Новый одноклассник был высоким, но субтильным, хотя имел за плечами почти пятнадцать лет, поскольку в школу из-за слабого здоровья пошел не со своим возрастом, а потом пропустил еще год. Очки делали его похожим на безобидного цыпленка-переростка.

Но за хилой Костиной внешностью, как выяснилось, скрывалась изощренная страсть.

Учился мой новый друг через пень-колоду.

В отличие от меня, нацеленного на математику – и мечтающего о школе, где меня будут окружать нормальные ребята, а не дебилы вроде Дербака – Костя все усилия направлял на рисование. И даже учился параллельно в художественной школе.

Наш контакт, приведший к истинной дружбе, произошел случайно. Хотя не может быть случайным единение таких одинаково томимых эстетов, каковыми оказались мы.

Случилось все светлым и жарким майским днем, перед самым завершением учебы.

Весна бушевала, обрушивала с небес полную чашу жизни.

Стояла отличная погода, кругом все зеленело, за заборами готовилась к цветению сирень, которой был богат наш большой, но еще полудеревянный, уютный город. Повсюду порхали ожившие бабочки-крапивницы; да и сама земля, высохшая и прогретая солнцем, источала аромат радости, предчувствия неопределенного счастья.

Мы с Костей возвращались из школы: нам было по пути все три квартала до моего дома, он шел чуть дальше – и весна так разленила, что мы оба еле волочили ноги.

– ...Смотри!!!

Оборвав на полуслове безобидный разговор о нехороших предметах, которые появятся в восьмом классе, Костя дернул меня за рукав.

– Смотри, как трусы врезаются ей в ягодицы!!!

– Какие... трусы? – я понял не сразу. – Кому? В какие ягодицы?..

Много позже, повзрослев и все познав, я понял, что по невероятной чувственности натуры мой новый друг был в сто – нет, в тысячу раз более страстным, нежели я.

Ведь я самостоятельно выбрал математику – точную науку, лишённую эмоций – а он решил двинуться по пути художника, что в начале благополучных семидесятых не казалось из ряда вон выходящим. Мои опыты со своим телом, стремление познать предназначение парных частей и все прочее, о чем стыдно вспоминать, являлись только периодом, характеризующим переход из мальчишества в отрочество: неким временным пиком интереса, который затем сошел на нет.

А Костя, едва ощутив первое томление, отдался сексуальному до такой степени, что уже не мог отвлекаться ни на что другое. Его мысли были продиктованы чувственностью; глядя на мир он неосознанно подмечал все, связанное с интимной сферой. Он не говорил о том непрерывно лишь потому, что до сих пор не имел достойного собеседника.

– ...Да вон, женщина перед нами идет! В синей юбке!

Костя так и сказал «женщина» – а я, подняв глаза, увидел, что впереди на высоченных каблуках шагает тетка.

Для меня, не утонченного до нужного предела, все представительницы противоположного пола делились на девчонок – то есть ровесниц плюс-минус год – и «теток».

Возраст последних колебался от семнадцати до девяноста.

Тетка шла, и юбка обвивалась между ее длинных ног.

– Да она же старая совсем, чего ты на нее смотришь, – отмахнулся я, ненужно подумав о Тане, которая пришла в школу без колготок и пахло от нее иначе, чем обычно.

«Старой» тетке, по теперешним воспоминаниям, было лет двадцать.

– Ну и что? – с философским спокойствием возразил Костя. – Какая разница. Все равно у нее есть всё, что нужно.

– Что всё и где «где»? – уточнил я.

– Где у всех – между ног, «где», – снисходительно пояснил он. – Потом объясню... Ты смотри лучше, а то она сейчас свернет куда-нибудь.

Я присмотрелся и понял, что привлекло моего утонченного спутника.

Синяя юбка, болтающаяся вокруг ног, была узкой. И при каждом шаге ткань обтягивала очень круглый и очень красивый – несмотря на безнадежную старость – зад.

Ткань была очень тонкой, на ягодицах проявлялись две бороздки от резинок – невидимые трусы угадывались явно.

– Разглядел? – спросил Костя.

– Ага, – ответил я.

– Нравится?

– Спрашиваешь... – я вздохнул.

– Подожди, сейчас спереди зайду – посмотрю, что оттуда видно.

– А как ты... – начал я.

Костя махнул рукой, не объясняя, и почти побежал к стоящему на перекрестке ларьку «Союзпечати». Постоял там пару секунд, рассматривая почтовые марки, затем очень медленно пошел обратно.

Я видел, что он рассматривает место под животом, где сходились ноги, облепленные синей юбкой.

– И как? – поинтересовался я, когда Костя миновал женщину, развернулся и мы снова пошли следом за пропечатавшимися трусиками.

– Никак, – он разочарованно вздохнул. – Фасон такой, что обтягивает только сзади. Спереди не обтягивает и ничего не видно.

– А что... могло быть видно? – очень осторожно, чтоб не выдать неосведомленности, спросил я.

– Ну... Это от ткани зависит, от ветра, от формы живота, от походки. В общем, много от чего, – рассудительно ответил одноклассник.

Я понял, что попал на знатока.

И молчал, ожидая продолжения.

– ...Иногда видно только живот и пупок. Если, конечно, он не гладкий, а выпирает. Или наоборот, если втянут лункой. Иногда нижний край. А если волосы у нее жесткие, то бывает, удается разглядеть их через трусы. А иногда облепит так удачно, что видно где ложбинка между губами уходит внутрь...

– А причем тут губы? – перебил я, раскрыв невежество.

– Причем тут что? – Костя посмотрел на меня без усмешки. – Я же не об этих губах говорю, а о тех. О больших половых.

Новое слово упало в мое сознание.

Внутри у меня все заныло и задрожало не столько оттого, что я полквартила наблюдал сквозь юбку женские трусы, а от предчувствия новой информации.

– Костя... – прямо сказал я.

И даже взял его за рукав.

– ...Костя. Дело в том, что я. Как бы тебе сказать...

– Говори прямо, – великодушно сказал будущий художник.

– Дело в том, что я... Я не знаю... что там у теток творится между ног. Как там устроено, как называется, и так далее. И когда ты говоришь по какие-то губы...

Я не договорил, все-таки покраснев от стыда.

– Ясно, – спокойно ответил он. – Ты ни разу в жизни не видел голую женщину. Я так и думал.

– Ну...

Мгновенно размыслив, я решил промолчать о таком гнусном поступке, как подглядывание за моющейся матерью; тем более, что ничего существенного не увидел.

– ...В общем да. Не видел.

– Я тоже, – одноклассник вздохнул и добавил печально. – Где ее увидишь-то?

Как сейчас вижу выражение Костиного лица, и даже движение пальца, каким он поправил очки на своем носу.

Я помню все с ненужной точностью, и сердце мое обливается кровью от жалости к моему поколению, полностью обделенному всем, касающимся вопросов пола.

Я вспоминаю тонкий Костин палец и его круглые, как у Джона Леннона, очки-велосипеды, и думаю что сейчас любой мальчишка путем минимальных ухищрений выйдет в интернет и увидит все, что нужно.

И пусть записные моралисты обрушат на мою голову ушаты благочестивой грязи, но я буду стоять на своем.

Ошибки рождаются незнанием, знание выводит на нужную дорогу.

И, кроме того, для психики, для формирования межгендерных отношений гораздо полезнее разглядывать части тела у порнозвезд, чем у своей матери.

– Где увидишь-то ее... – повторил он.

И столько грусти звучало в его словах, что я не выдержал.

Покраснев, как переваренный рак, я пробормотал, чувствуя невозможность оставлять недоговоренное между обретшими друг друга в неясном поиске:

– Я вообще-то не совсем... Я...

Я чувствовал, что признаюсь в святотатстве, после которого вновь обретаемый друг может повернуться и уйти, но все-таки договорил:

– Я... мать свою... голую видел... один раз, когда она мылась...

Костя молчал, не меняя выражения лица.

– ...Примерно вот это место и то мельком.

Я показал рукой на себе, чуть повыше того, где у меня бушевал огонь.

– Ну, так это считай вообще ничего не видел, – еще грустнее ответил друг. – Когда мы ездили к бабушке в деревню, я мать свою сто раз видел совсем голую со всех сторон. Выйдет обливаться во двор, а полотенце в доме забудет. Кричит – *«Костя, принеси»*. Ну, я и приносил.

Меня бросило в жар.

Оказалось, что все, ценой немалых усилий доставшееся мне, не шло в сравнение со знаниями Кости, пролившимися на него с небес.

– Да только это не считается ни фига. Я же тоже ничего такого не увидел. Не мог же я ее просить: *«Мама, встань к лесу передом, ко мне задом, наклонись вперед и покажи, что у тебя есть!»*! И вообще мать не считается, у меня на нее не вставал ни капли. Я не мать имел в виду, а женщину.

– Да... – протянул я неопределенно.

– В деревне и женщин тоже можно было увидеть. Там по вечерам девки голыми купаться ходят, на пруд. Там по берегу кусты, все парни подсматривают, и у каждого елда вот такущая...

Я не знал, что такое «елда», но подсознательно ассоциировал слово с чем-то опасным, вроде кувалды.

– ...Но я тоже ничего не разглядел, и так плохо вижу, а в сумерки у меня куриная слепота. Слишком близко лезть боялся, могли побить за просто так.

– Но тогда откуда ты все это знаешь? – спросил я. – Все эти... губы.

Мне сделалось еще жарче.

– Ну... – Костя вздохнул, снисходительно и грустно. – Я же в художке учусь.

– Ну да, – подтвердил я, не понимая сути.

– Настоящей обнаженки с голыми тетками нам, ясно дело, не устраивают. Но всякие гипсы есть и репродукции вот такого размера...

Костя развел худые руки и я вдруг понял, что помимо высокой чувственности натуры, он обладает еще и знаниями, к которым я так мучительно стремлюсь.

– ...И даже есть медицинская книга, по анатомии, с рисунками. Правда, самые интересные страницы давно выдраны. А ты что... Вообще ничего не знаешь?

– Вообще ничего, – я обреченно кивнул.

– Пойдем на скамейку, посидим, я тебе нарисую в общих чертах, – предложил просвещенный друг.

И я понял, что в моем неведении вот-вот зазияет трещина.

## 2

Забегая вперед, скажу, что когда мы познакомились ближе, Костя показал свои тайные творения.

Для них у него имелся особый блокнот.

Когда он протянул мне его и я открыл первую страницу, то...

Уточнять не вижу смысла, тут все ясно всем.

На этих рисунках друг быстрым карандашом изображал знакомых особ женского пола. Правда, окружали нас особы одни и те же, причем довольно скучные: одноклассницы да учительницы. И они вряд ли могли представлять собой предмет искусства, если бы не одно «но».

Пронзая реальность воображением художественного ума, Костя изобразил их голыми.

Да, абсолютно голыми.

Сидя в классе, он захватывал какую-нибудь безобидную сценку из школьной жизни.

Например, мою бывшую невесту Люду, плывущую у доски по географии, и недовольную учительницу Евгению Михайловну за столом. Фигуры были узнаваемы, позы не вызвали сомнений, оставались даже штрихи внешних форм, с которых начинался рисунок. Но Костя своих героинь раздевал. И смешно было видеть Потапову, упершую указку куда-то под низ плоского живота. А Евгеша, как мы ее звали, состояла из одних молочных желез, из каждой можно было сделать пол-Кости. Ведь не зря историк Василий Петрович, заложив за воротник сильнее обычного, утверждал, что в нашем городе имеются две достопримечательности: недостроенный в течении пятнадцати лет автомобильный мост через реку Белая и грудь Евгении Михайловны.

Нарисовано было здорово; не зная женского тела и не умея судить о точности изображения, я улавливал правдоподобие рисунков.

Поплыв в эмпиреях сладострастия, я покраснел и попросил друга, чтобы он нарисовал мне таким же образом соседку по парте.

Он ответил, что сделает это запросто.

Раздетая догола Костиным нескромным карандашом, Таня получилась как живая, она смотрела круглыми глазами и казалось, собиралась заговорить. Правда, через день, после последнего в году урока физкультуры, Костя попросил у меня рисунок обратно, чтобы слегка подправить Танины соски, которые он сумел рассмотреть.

Надо ли говорить, что обнаженная Таня заменила мне всех гимнасток, фигуристок и даже облепленных мокрым купальником пловчих.

Этот рисунок стал источником моих феерических грез и служил исправно до тех пор пока...

Впрочем, о «пока» вспоминать рано, я еще не закончил воспоминания о всплеске эротизма, испытанного после сближения с новым другом.

### 3

Рисовал Костя отменно. Он, конечно, был прирожденным художником и наверняка чего-то достиг на этом поприще, да я потерял его из виду.

В тот первый раз, присев на скамейку, он достал из портфеля блокнот – не тот, где жили наши голые учительницы, а довольно скромный, с зарисовками домов и машин – и набросал мне внешний вид женских мест.

Сделав несколько рисунков – потом вырвав их и изодрав в клочки – он пояснил, что от низа живота расходятся те самые большие губы. Толстые, покрытые шерстью валики, очертания которых можно увидеть, если на женщине в тонких трусиках ветер задерет юбку спереди. Под большими губами прячутся гораздо более интересные вещи: губы малые. Правда, снабдив меня новым термином, Костя честно признался, что про их существование он знает, но нарисовать не сможет: гипсовые слепки этих элементов не имели; для выяснения их устройства требовалось в прямом смысле лезть под женщину.

Этот случайный разговор, спровоцированный незнакомкой в обтягивающей юбке, сделал нас не просто закадычными друзьями. Мы узнали друг в друге братьев по крови и все свободное время – которого до каникул осталось не так уж много – проводили вместе.

И хотя по сути дела сам Костя знал не так уж много, но я умел почти все, не зная ничего. А он постоянно вспоминал какие-то мелочи, дополняя фрагментарные познания.

Например, в одну из наших прогулок изрисовал лист бумаги сосками различных форм. При этом пояснил, что это самая изменчивая женская часть, поскольку нельзя не только найти двух теток с одинаковыми, но даже у одной они могут иметь разные формы или размер. Причем в зависимости от состояния сосок может быть или мягко расслаблен, или туго собран, это он досконально изучил, рассматривая моющуюся мать. Дополняя эти слова, Костя посоветовал мне дома приложить к собственной груди холодную тряпку.

Костя откуда-то знал и причину метаморфоз самого интересного органа. Он просветил меня, что все это связано с процессом воспроизводства человека – что в критический момент мой организм вырабатывает нечто, которое попадет в женщину и, соединяясь с чем-то женским, образует новую жизнь.

Это знание разочаровало; не хотелось верить, что все мои наслаждения преследуют примитивную цель: чтоб на земле появилось еще одно мокрое, сопливое орущее существо; детей я никогда не любил.

Но все равно неразрешенным оставался вопрос: как?

Каким образом происходит все, что туманно описал мой друг?

При всем кажущейся разнuzданности мы с Костей хранили целомудрие внутренних отношений.

Обсуждая не до конца известные детали женского тела и отношения, затрагивающих мужскую часть, мы делали вид, что сами этих частей не имеем, а касаемся предмета от нечего делать.

Поэтому мы никогда не обсуждали собственных пристрастий, не хвастались друг перед другом своими непристойностями, не касались деликатной темы самоудовлетворения.

Костя только однажды сказал, что в пионерском лагере – куда родители отправляли его каждое лето – воспитательница после отбоя ходит по рядам, проверяя, чтобы все засыпали с руками поверх одеяла.

Деталими своих нескромных привычек мы не делились. Каждый понимал, что второй тоже грешит; но мы не говорили об этом, щадя стыдливость друг друга.

Мы дошли лишь до констатации факта, что в определенном состоянии кое-что можно куда-нибудь засунуть.

Но страницы из академической анатомии вырвал другой искатель знаний, и Костя не мог приблизительно посмотреть, куда и как.

Предположений относительно женского органа нами высказывалось столько, что на их основе можно было составить целую энциклопедию сексуального незнания. Перечислять не вижу смысла.

Правда, Костя знал еще одно слово – «*влагалище*», которое называлось так потому, что в нем всегда было влажно. Но где именно находится вместилище влаги, он не имел понятия.

Мы оставались безнадежными девственниками, к тому же не обладали внешностью мачо и нас не впускали в круг познавших женщину. Впрочем, мы туда и не рвались, подсознательно чувствуя, что в нашем возрасте там встретит грязь, смешанная с насмешками и унижениями.

Когда я вспоминаю сейчас тех нас – двух сексуальных страдальцев – то умиляюсь отроческой чистоте душ, нашей невинности помыслов, не согласующейся с буйством увлечений.

Все наши усилия были сконцентрированы на добывании информации, сопоставлении фактов, построении догадок.

А кто-то иной, столь же маниакально озабоченный, мог просто затащить в подвал девчонку и там узнать ее строение.

Мы могли втереться в компанию девиц, которые имелись всегда, только в разные времена назывались по-разному. В моем мальчишестве их аттестовали «*девицами легкого поведения*», и я по своей гениальной неосведомленности полагал, будто это означает, что она плохо себя ведет. Подобные имелись и в нашей школе, их можно было распознать по ауре порочности, которая струилась вокруг. Но эти казались слишком противными.

В конце концов, имелось еще одно решение: вечное как мир, хотя и с трудом реализуемое в эпоху развитого социализма. Найти даму бальзаковского возраста, которая истосковалась по молодым и с радостью согласилась бы стать секс-инструктором.

Но по какой-то неясной причине мы с Костей проследовали мимо поворотов на все эти, далеко не лучшие, пути.

Мы ограничивались обсуждениями, рисунками и отрывками воспоминаний.

Максимум, что мы себе позволяли – невинное подглядывание за женщинами с целью увидеть их тайные кусочки.

## 4

О, эти наши рейды по ловле женских тайн, в которые мы уходили ежедневно с началом каникул, используя несколько недель до нашего расставания на лето...

У Кости существовала целая система ситуаций, при которых можно было гарантированно подглядеть что-то существенное.

Лестницы, переходы над эстакадами, лифты старой конструкции и вентиляционные решетки – все они дарили возможность увидеть женские трусики. Если бы в те годы, подобно нынешним, уже имелась мода летом ходить без белья, то мы бы, наверное, просто сошли с ума.

Костя также знал единственную в городе подземную – точнее, подпольную – воздуходувку, где каждая советская женщина могла пережить лавры крашеной дуры Мерлин Монро. Она находилась в огромном, на три дома, цокольном гастрономе на улице Революционной – в тамбуре, ведущем в мясной отдел, где мясом не пахло. Невидимый вентилятор был столь мощным, что, по Костиным словам, поднимал даже меховую шубу, давая увидеть все, что можно и чего нельзя. Но, конечно, летом эта штука не работала, оставалось ждать зимы.

Зато в моду вошли платья из тонкой полупрозрачной ткани. И одновременно с этим, благодаря жаре, среди отдельных женщин распространилась западная зараза: пренебрежение бюстгалтером.

Заметив жертву в такой одежде, мы барражировали вокруг нее, сзади наслаждались разнообразными трусиками, а спереди... Спереди – страшно подумать – мы видели темные кружки на груди!

Вообще соски в то лето служили основной добычей.

Мы знали все места, где шла летом уличная торговля газированной водой, книгами, газетами, журналами, фруктами и прочей чепухой.

Торговали обычно девицы лет двадцати, одетые в униформу, которая была рассчитана на женщин, в пять раз более крупных, и отвисала во всех возможных местах.

Мы с Костей часами, словно ревизоры, обходили эти точки, невинно пристраивались за спиной девушки-продавщицы и обмирали от восторга, когда она наклонялась вперед и показывала сосок.

Коричневатый, коричневый, лиловатый, розовый... плоский, длинный, торчащий вперед или вдавившийся в поверхность... какой угодно.

Огорчало лишь то, что в такой момент нельзя было заниматься тем, что до сих пор обходилось картинками и фантазиями.

Правда, однажды произошел случай, превзошедший прочие.

Стояла жуткая жара. Мы умирали от духоты, но с упорством таскались по городу, будучи уверенными в необыкновенной удаче.

И удача к нам обернулась.

Мы обнаружили новую точку, где торгуют мороженым. Она располагалась возле крыльца кинотеатра «Родина» – когда-то построенного пленными немцами, представлявшего помпезное здание, окруженное сквером. Крыльцо лишь называлось крыльцом, на самом деле то было возвышение, огороженное по периметру и с лестницей посередине. Там пестрели клумбы, вдоль решетчатого парапета стояли скамейки. Причем, как ни странно, их перевернули лицом к улице.

Около крыльца приткнулась со своим ящиком мороженщица – обычная блондинка с некрасивым круглым лицом, такие только и работали в уличной торговле. Но недостатки внешности компенсировались тем, что ее чересчур просторный белый халат был надет на голое тело. Да, в самом прямом смысле голое: это был единственный случай, когда из-за жары женщина оставила дома не только лифчик, но и трусики. Или, возможно, она их где-то забыла,

а возвращаться было лень. Но стесняться девушке не приходилось: торговала она сидя, спереди ее загораживал синий ящик на колесиках, за спиной на метр поднималась серая бетонная стена.

И знать ли было ей, что на высоком углу стены стоит скамейка, где сидят два утонченных эротоманца.

Сидят, боясь дышать и, рискуя свернуть шеи, пьют глазами зрелище.

А оно превосходило все, виденное до сих пор.

Я сидел и рассматривал небольшие, но уже отвисшие белые грудки с сосками неопределенного цвета и начало черного треугольника между бедрами.

Это продолжалось долго, мне постепенно становилось дурно.

В голову приходило сознание, что мысли о подсмотренном у неизвестной девушки могут оказаться более сладостным, чем разглядывание обнаженной соседки на Костином рисунке.

А также думалось, что в своих сладостных отправлениях я вовсе не привязан к туалету в нашей квартире.

Возможно, мой сосед по скамейке испытывал то же самое.

Но мы были слишком хорошо воспитаны, чтоб признаваться друг другу в намерениях.

– Знаешь, я пИсать хочу, – наконец заявил я.

– Общественный туалет в другом квартале, – друг вздохнул. – Около милиции. Пока ходишь, она все продаст и уйдет.

Кажется, он поверил, что я хочу только пИсать.

Или, скорее всего, сделал вид, согласно внешней скромности наших отношений.

– За кино гаражи. Я сейчас мигом, ты место держи, хорошо?

Костя не успел кивнуть, как я сорвался с места и побежал за «Родицу».

Там к скверу примыкал жилой квартал, отграниченный рядами гаражей и заросший американскими кленами.

Найдя место, где не проходила тропа и межгаражное пространство использовалось как общественный туалет, я протиснулся в щель, отер пот со лба и торопливо расстегнул штаны...

...Переведя дух, я привел себя в порядок и поспешил обратно.

Костя взглянул на меня внимательно, тонко улыбнулся и, не говоря ни слова, тоже отправился за кинотеатр.

Девушка внизу торговала и торговала, соски ее то показывались между телом и халатом, то исчезали, и в этом крылась прелесть дрожащего томления.

– Хорошо, – сказал Костя, вернувшись быстро и плюхнувшись рядом. – И даже очень.

Мороженое лежало в изотермическом ящике, но что-то еще хранилось в большой картонной коробке, стоящей у стены. Покупатели ненадолго рассосались, девушка повернулась, полезла туда, при этом нагнулась так, что я увидел уже все, что мог.

Говоря современным языком, она носила «бразильские заросли», хотя в СССР о типах причесок никто не слышал, забота об области ниже пояса считалась буржуазным пережитком. У мороженицы вырос такой буйный куст, что хотелось нырнуть туда, затаиться и отдать концы от переизбытка наслаждения.

– Мне опять захотелось пИсать, – сказал я, когда девушка опять встала спиной к нам.

– Подожди, – остановил Костя, все поняв. – Посиди немного, передохни. Два раза без перерыва на такой жаре вредно.

В благодарность мы купили у ничего не подозревавшей продавщицы мороженое, за которым спускался один я, чтобы не потерять наблюдательный пункт. Медленно поглощая подтаявший пломбир, мы были довольны, как падишахи; благодаря хождению за «Родицу» эта девушка стала нашим совместным достоянием, кем-то вроде одной жены на двоих, хотя у падишахов на одного мужа приходилось несколько жен.

Съев свое мороженое, Костя сходил к гаражам еще раз. Дождавшись его, я тоже повторил свой заход.

Заниматься привычным делом на свежем воздухе было приятно..

В последний момент я подумал, что для полного счастья мне не хватает голенькой Тани Авдеевко, прилепленной четырьмя пластилиновыми шариками на серебристую стену гаража – но, конечно, не стоило требовать от жизни слишком много.

– А знаешь, как я еще развлекался... – разнеженно заговорил Костя, когда я опять сел к нему, не чувствуя под собой скамейки. – Ни в жизнь не догадаешься...

Я молчал, ожидая невероятного продолжения.

Девушка-мороженица, наклонившись теперь вперед, прибиралась в своем дымящемся ящичке.

Ко всему прочему, у нее оказались очень выпуклые ягодицы, разделенные ложбинкой, просвечивавшей сквозь халат.

Если бы в тот момент я знал то, что открылось мне через год, то мог бы выразить желания, охватившие при виде этой ложбинки под ничего не прячущей тканью. Но сейчас я не знал еще ничего, не имел соответствующих опытов, и потому смотрел вниз с абстрактным вождением.

– ...Берешь зеркальце...

– Какое зеркальце?

– Обычное. Квадратное. Или круглое. И пускаешь зайчик ей в то место.

– Кому? – я был сбит с толка.

– Да кому угодно. Любой женщине, которая идет мимо. Лишь бы солнце светило как надо.

– А... зачем? – осторожно спросил я.

– Ну... Когда зайчиком ей там водишь, кажется, что в самом деле трогаешь. А если платье тонкое, так и трусы можно просветить.

– Классно, – я наконец понял. – А откуда ты пускал зайчики? Со скамейки?

– Нет, со скамейки боюсь. Может заметить, хай поднять и даже морду начистить. Выбирал какой-нибудь дом, у которого лестница смотрит на улицу, и пускал с площадки. Но если мы будем вдвоем, прикинемся, будто что-то читаем, а не просто сидим и пялимся, можно попробовать и со скамейки. Думаю, видно лучше.

– Пошли зеркальца купим! – я загорелся, сообразив, что эти предметы продаются в любом галантерейном магазине.

– Нет, сейчас мы не пойдем, – возразил друг. – Потому что такой картинки, как тут, никакое зеркальце не даст.

– Это точно, – согласился я.

– Будем сидеть, пока она все не продаст.

– Ага. А с зеркальцами можно и завтра пойти.

– Точно, завтра... – Костя сладко потянулся, потом посмотрел на небо. – Нет, Лешка, зеркальца от нас никуда не убегут. Лучше завтра мы с тобой поедem на пляж.

– Зачем? – удивился я.

– Дурак, там сейчас все женщины! Без платьев, без халатов, вообще почти без ничего.

Костя закрыл глаза и принялся живописать картины пляжа.

Начал он с безобидного – с ног и задниц.

Потом коснулся конструкции купальников. Отметил, что все они открывают грудь в разной мере, и если женщина сидит склонившись, то из-за плеча можно увидеть многое. Бывают любительницы загореть без полоски на спине – эти расстегиваются и ложатся на живот, их груди расплющиваются...

И вообще купальник купальнику рознь. Есть специальные инженерные конструкции, армированные капроновой решеткой, они все скрывают безнадежно, на них даже не стоит смотреть.

Но простые с чашечками из ткани – это кладезь наслаждения.

Многие виды материи намакая, дают всему проступать. И если соски темного цвета, то они видны, как на ладони. А учитывая известный факт сжимаемости от воды, которая в нашей реке всегда холодная...

Сходив к девушке без трусов еще за парой мороженных, Костя продолжил про трусы.

Тут редко удастся встретить тонкую ткань; это место всегда делается двойным.

Но и натяжение дарит немало удовольствий.

В частности, приятно увидеть волосы, выбивающиеся на сгибах бедер, по ним можно судить об истинном цвете волос хозяйки.

– Ты, кстати, заметил, что у этой те волосы черные? – спросил Костя, возвращаясь к конкретике.

– Да, и удивился, потому что на голове белые, – ответил я.

– Конечно, – друг засмеялся. – Потому что на голове она их обесцвечивает, а там – нет. У женщин волосы во всех местах примерно одного цвета, только разных оттенков.

– Я пожалуй, пойду... пописаю еще раз, – сказал я, ощутив необычайное воодушевление темой.

– Вот у моей матери, – продолжал Костя, не слушая меня. – Так она натурально светлая, а там у нее волосы рыжие...

– Кость, а ты не нарисуешь мне свою мать? – кашлянув, перебил я. – Все-таки она не статуя, и ты ее видел, а не просто придумал, как Таньку или Нинель...

Нинелью звали нашу толстую директрису. Один из самых неприличных Костиных рисунков изображал ее, тащившую за ухо Дербака. Сама по себе сцена была привычной, она повторялась минимум раз в неделю. Изюминкой рисунка являлось то, что оба были голыми, баллоны Нинели свешивались до колен, а то место, которое главный школьный хулиган когда-то украшал звездочками, напоминало батон докторской колбасы.

– ...Но в подмышках темные...

Действительно, в те времена женщины не брили не только «дельта», но и подмышек.

– Извини, – сказал я, покраснев. – Я понимаю, твоя мать, и все такое...

– Понимаешь, но не так, – ответил Костя. – Мать – она и есть мать. Когда я рисую статую, или Таньку, или даже Нинель, я все-таки... что-то чувствую. А к матери – ничего, хоть сто раз видел ее голой. И ее нарисовать – ну просто не получится. Неинтересно, понимаешь?

– Понимаю, – я кивнул.

А сам вспомнил, что когда подсматривал за своей обнаженной матерью, то тоже не чувствовал ничего, кроме стыда.

Позже я читал в Интернете откровения какой-то старой школьной дуры, утверждавшей, будто нельзя возжелать Венеру Милосскую. Вспоминая Костю, вдумал, что не возжелавший даже не сумел бы ее изваять.

А друг продолжал, что многие женщины, особенно нехуденькие, любят загорать на спине, согнув ноги в коленях. Если купальник высох не до конца, там можно увидеть то, о чем мы только пытаемся рассуждать.

И поскольку мы не отличаемся могучим сложением, то сможем без проблем ползать по песку и делать вид, будто что-то ищем, а на самом деле рассматривать все тела подряд.

Я подумал, что на пляже в кустах можно заняться любимым делом, хоть по очереди, хоть наперегонки – ни о чем не фантазируя, просто наблюдая.

Но, боясь разрушить трепетное целомудрие непотребства, я ничего не сказал, только благостно хмыкнул.

## 5

Наполеоновским планам сбыться не пришлось.

Пока мы наслаждались тайными уголками девушки, ее мороженым и еще более тайными мечтами, жара сгустилась до невыносимости.

Я так и не собрался сходить к гаражам в третий раз: над городом разразилась гроза.

Ливень упал стеной, мы в одну секунду промокли до нитки; утешением служило то, что девушка в промокнутом халате сразу оказалась практически голой, и мы с Костей увидели уже абсолютно все.

Гроза прогремела над нами и укатилась дальше, но дождь затянулся до вечера; потом, не прекращаясь, шел с утра. А потом с небольшими промежутками продолжался целую неделю. Залил город; вероятно, вышедшая из берегов река затопила пляж.

Испортившаяся погода отрубила возможность общения.

Мы с Костей изредка перезванивались, но друг к другу в гости не ходили, поскольку главная тема наших разговоров была запретной.

Женщины в купальных костюмах не узнали наших жадных глаз. Прямоугольные зеркала остались лежать в стеклянных витринах магазина «Галантерея-парфюмерия», что располагался на той же улице Ленина, что и кинотеатр «Родина», только на другой стороне и двумя кварталами ближе к реке и пляжу.

Потом подошло время и Костя уехал в пионерский лагерь: в те времена все летние подростково-молодежные лагеря именовались пионерскими, хотя многие «пионеры» по утрам брились заводными механическими бритвами.

А я чуть позже отбыл с родителями в Крым – на базу отдыха от отцовского НИИ, куда мы ездили ежегодно с тех времен, как я себя помнил.

## 6

Крымская погода оказалась, как всегда, чудесной.  
Море было теплым, воздух сухим, настроение – легким.  
Здесь хотелось жить и радоваться жизни.

База отдыха – убогая по нынешним временам, без горячей воды в дощатых домиках, но тогда казавшаяся земным раем – раскинулась на северном берегу Севастопольской бухты, в те годы запретной из-за существования Черноморского флота. Все здесь было знакомо до последнего кусочка и не менялось из года в год, как сама жизнь тогдашнего СССР.

Только я на этот раз изменился.

В прежние приезды меня волновало все, ограниченное интересами несмышленного мальчишки.

Прежде всего, это были военные корабли, которые иногда удавалось увидеть в материн театральный бинокль. Волновали меня морские животные: раковины рапанов и черноморские медузы, которых иногда прибывало к берегу. Много радостей доставляли ежи, шнырявшие в траве около домиков стоявших на сваях вдоль косогора. Радовали незнакомые цветы, бабочки неизвестных расцветок, не живущие в наших широтах богомолы, большие белые улитки на лужайках. На территории базы в избытке росли грецкие орехи и миндаль. Орехи во время наших приездов оказывались незрелыми, их приходилось очищать от зеленой кожуры, после чего руки становились желтыми, как от йода, порой появлялись ожоги. Миндаль созрел, но мне никогда не удавалось запомнить, которые из одинаково высоких деревьев – культурные, а которые – дикие с несъедобными плодами, и каждый год поиск хороших орехов казался новым занятием.

Да и купания ради купаний без далеко идущих целей составляли одно из главных удовольствий отдыха.

Сейчас все осталось прежним.

Не нужные никому, кроме золотопогонных адмиралов, военные корабли исправно утюжили бухту, превращая в соляровый дым миллионы, на которые можно было построить новые больницы или увеличить выпуск легковых автомобилей для населения. Или снабдить всех советских граждан туалетной бумагой вместо нарезанной газеты «Правда» – которую выписывали из-за дешевизны для настенных коробочек около унитаза.

Бабочки летали, богомолы ползали, ежи шуршали, гроздь белых улиток висели на высохшей от зноя траве.

И орехи никуда не делись, за год стали выше и мощнее.

Но это отошло на второй план.

Я нашел себя в абсолютно новом месте, поскольку сама цель моего интереса стала соответствовать возрасту, ею стали женщины.

Любые, лишь бы у них имелись признаки, которые можно рассмотреть.

И не только рассмотреть.

У отца имелся фотоаппарат – старый «ФЭД», работа которым была сравнима со стрельбой из тяжелого орудия. Отец им дорожил и мне не давал, пользовался сам. Отцовские съемки заключались в нескольких кадрах, сделанных в первые дни. Ему быстро надоело целиться, наводить на фокус без взгляда через объектив, выбора подходящих диафрагмы и выдержки по показаниям коробочки с зеркальцем, называющейся «экспонетром», и – что напрягало особенно – перекручивать на пять оборотов рифленую головку после каждого снимка. Кожаный футляр прятался в чемодан и вспоминали о ней только по возвращении. Не помню, хоть откуда-нибудь отец привез полностью отснятую пленку, даже съездив по работе в Венгрию в годы моего младенчества, он не смог напечатать снимков на половину маленького альбома.

Но в этом году отец расщедрился и вперед дня рождения, который намечался ближе к августу, подарил мне собственный фотоаппарат. Правда, этому способствовало то что у старого «ФЭДа» разладился дальномер и делать им качественные снимки стало невозможно.

Дешевая «Чайка» подходила моему уровню, к тому же снимала узкими кадрами, которых на стандартной пленке помещалось вдвое больше, чем у прочих аппаратов. Качество объектива оказалось приемлемым; позже я где-то читал, что такими шкальными «щелкалками» профессиональные журналисты пользовались как записными книжками в дополнение к зеркальным камерам вроде «Зенита» или «Киева».

Но самым главным было то, что фотоаппарат изначально оказался моим. К тому же, в отличие от «ФЭДа», он был маленьким и на пляже я прятал его в плавки.

Мать дала денег на пленку, ею я запасся дома, и мечтам на отдыхе не имелось предела.

В самом деле, тем летом все складывалось как нельзя более благоприятно.

Родители по обыкновению поехали в Крым не одни, а с парой друзей – отцовским сослуживцем и его женой.

Взрослые нашли дело по душе – точнее, они нашли его давно, сейчас продолжили прерванное год назад.

Мужчины играли в домино и совершали набеги на тянущиеся вдоль шоссе виноградные плантации, где покупали невозможно кислое зеленое вино этого года. Пили мало, пьянели сильно и были довольны.

А их жены занимались привычным для женского отдыха тех времен: загорали, купались, вязали. И, разумеется, сплетничали обо всем на свете, поскольку живя в одном городе, имели массу общих знакомых.

Было правда, одно обстоятельство которое отличалось от привычного и при неудачном течении могло помешать: отцовские знакомые приехали отдыхать с дочерью – шестнадцатилетней дылдой по имени Наташа. Кажется, в прошлые годы они ее с собой не брали, или я ее не замечал. Сейчас заметил потому, что Наташа уже имела женские детали сложения.

Она привлекала сильнее, чем Таня, раздетая Костей и приукрашенная.

Но Наташа общалась только с девчонками, а по отношению ко мне напустила манеры старшей.

В итоге я был полностью предоставлен самому себе.

## 7

Моих ровесников на базе отдыха имелось достаточно; они пускали в море модели кораблей, ловили с позеленевшего пирса бычков, безобидно задирали девчонок, играли в шахматы и шашки, занимались десятками других дел, которые мне сделались неинтересными.

Я со всеми перезнакомился на всякий случай, но ни с кем не подружился, не увидев сообщника.

Хотя приехать в Крым и найти там второго Костю было нереально. Поэтому я сохранял свободу от всех: она требовалась для моих целей.

Основное время я проводил в одиночестве.

В те годы я еще не вышел ростом и казался маленьким мальчишкой, выглядел года на два младше реальности. Последнее, вероятно, послужило причиной пренебрежения со стороны Наташи, жившей через фанерную стенку от меня.

Но недостаток телосложения сослужил службу в другом: никто из взрослых не догадывался о моем истинном возрасте и не принимал меня всерьез.

При мне женщины, делали все, что приходилось делать на по-советски необустроенном пляже.

Здесь стояли кривобокие кабинки для переодевания, но они были до такой степени замусорены, загажены и заплеваны, там так воняло мочой, что ими почти никто не пользовался.

Женщины осуществляли процесс переодевания на открытой местности, прикрываясь полотенцами.

Они расстегивались и застегивались, быстро и незаметно – как им казалось! – меняли лифчики, спустив с себя мокрый и подсунув сухой. При этом им приходилось на доли секунды обнажать грудь.

Меняли трусы – чаще, чем лифчики, но сильнее завернувшись.

Бывали и другие, не менее волнующие варианты, сейчас многое выветрилось из памяти.

Глядя на парней постарше, я осознавал, что при некотором усилии мог узнать значительно больше, возможно, даже кое-что бы получил.

Когда они шли купаться толпой я с берега видел все, что происходит в море: парни хватили девчонок за разные места, пытались расстегнуть купальники, придумывали массу иных способов добраться до тел. А те визжали так, что их слышали в Севастополе, но ходили на такие купания регулярно. Им тоже все это нравилось.

Не знаю, до какой степени неизвестного там доходило, но однажды утром у кромки прибоя валялись пестрые трусики от купальника. Прежде, чем успел пошаркать граблями полупьяный уборщик, к морю пробежали две неестественно смеющиеся девицы, и одна из них – правда, я не заметил, которая – с молниеносностью кошки подхватила потерянную вещь с песка.

Но меня подобные игрища почему-то не волновали.

Должно быть, я испытывал подсознательную брезгливость к разврату. Или еще внутренне не дорос до реального и мне хватало того, что имел: подглядывать, рукоблудить и фантазировать.

Трудно описать все, что я видел, а что раздувал в фантазиях до невообразимых масштабов.

Сейчас я, конечно, понимаю, что женщины – в основном одни и те же – загорали на том пляже каждый год, и прошлым летом я видел все то же самое, чем отуманенно наслаждался нынешним. Женщины не изменились, купальники их остались теми же самыми, в СССР их покупали на десять лет без перемены. Но изменился я, изменился мой взгляд на жизнь – во мне открылись новые ворота, куда вошло все, что существовало всегда, но мною не замечалось.

В первые дни я был шокирован и смят, жалел лишь о том, что нахожусь здесь без утонченного сластолюбца Кости, с которым все можно обсудить. Ведь я уже успел понять, что обсуждать мелочи, связанные с женским телом, не менее – а может быть даже более! – приятно, нежели наблюдать реально.

Потом передо мной встала серьезная проблема: наблюдения радовали глаз и тело – которое я регулярно ублажал, скрывшись в кустах на краю территории – но все виденное следовало еще сфотографировать, при том не вызвать скандала на свою голову.

Пожалуй, не буду вспоминать все подробности моих ухищрений.

В самом деле, я могу показаться каким-то совершенно обезумевшим сексуальным маньяком.

Но на самом деле, повторю еще раз, маньяком я не был.

Дело будущей жизни – математика – увлекала меня все сильнее.

Еще не имея перспективы пойти в спецшколу, я уже совершил погружение на очередную глубину любимой науки. В конце седьмого класса я написал отборочную работу и поступил во Всесоюзную математическую школу при МГУ. Я предвкушал, как осенью ко мне начнут приходить письма с заданиями на каждый месяц, а пока довольствовался «Задачником Кванта», благо на отдых взял с собой достаточное количество журналов.

Задачи я решал каждый день – обычно в часы послеобеденного отдыха, когда и взрослые и дети всей базы спали мертвым сном и мне не мешал шум.

Но математика не мешала жизни – как не мешала мне никогда.

И потому, имея в своем распоряжении уйму времени, оставшееся от задач я отдавал сексуальной сфере бытия.

А эта сфера была здесь весьма благоприятной хотя бы потому, что круглыми сутками я видел около себя даже не полуодетых, а вовсе полуголых существ женского пола, всех возрастов и всех качеств.

Поэтому воспоминания о том лете, в какой-то мере предэтапном во всей последующей мужской жизни, наполнены всепоглощающей эротикой возраста.

Дом, где жили мы с родителями, был рассчитан на восемь семей. Отцовский приятель, его жена и пренебрегшая мною Наташа поселились рядом с нами, двери выходили на общую террасу, на которой наши матери по вечерам вязали, а я слушал шуршание невидимых ежей. Другие двое соседей имели такие же выходы на другую сторону домика. Еще четыре семьи обосновались на втором этаже с выходами на отдельные лестницы. Жилые помещения представляли большие низкие комнаты, в которых туалет был отделен от спальной зоны узкой перегородкой, дверцы не имел. Входная дверь, конечно, запиралась, но простейший замок состоял из одной личинки, изнутри не блокировался и опасение быть застигнутым родителями не позволяло расслабиться.

Да и вообще по качеству исполнения эти избушки на железных ножках напоминали посылочные ящики из ДВП. Обладая довольно устойчивой нервной системой, даже я иногда просыпался ночью оттого, что кто-то из соседей спускал воду в унитазе. И еще чаще мне не давали спать какие-то стуки, сопровождаемые женскими стонами. Над нами жила молодая пара и я недоумевал, почему они так часто дерутся и почему для драк выбирают ночное время.

Заниматься любимым делом в обстановке, где окружающим был слышен каждый мой вздох, я не мог.

Но зато на базе в моем распоряжении находились кусты, которые росли вдоль каменного парапета, ограничивающего пляж от прогулочной зоны. Эти заросли использовались в качестве туалета теми отдыхающими, которые стеснялись справлять нужду прямо в кабинках переодевания, но не хотели идти в грязное общественное заведение, лежащее на полдороге между морем и зоной жилья. Но мне удавалось находить не сильно загаженные места и все нужное

производить на свежем воздухе. Тем более, что из кустов можно было увидеть пляж и иногда удавалось совершить то, о чем я лишь помечтал во время последнего разговора с Костей.

И переживать точку сладостного пика, глядя на какую-нибудь ничего не подозревающую полуголую тетку, раскинувшую на солнце свои толстые ноги и грудь в мокром купальнике, оказалось в тысячу раз приятнее, чем даже рассматривать в этот момент совсем голую, но рисованную Таню Авдеенко.

Что касается фотографий, которые я лихорадочно делал в каждой удобной ситуации на пляже, то они меня подвели.

Вернувшись домой, проявив пленки и занявшись фотопечатью после того, как родители вышли из отпусков и исчезли на работе, я испытал нешуточное разочарование. Почти все снимки вышли смазанными, а относительно четкие были неразборчивы в деталях до такой степени, что мои реальные купальщицы, загоральщицы и переодевальщицы оказались хуже газетных спортсменов.

Игрушечная «Чайка» подходила лишь для беглых записей происходящего; качество съемки ею было стохастическим, мои женщины получились бы более приемлемыми даже с помощью старой доброй «Смены» – столь же убогой, но имеющей нормальный формат кадра. Позже я понял, что фотоаппарат, непригодный для человеческой фотографии, прекрасно вписывался в образ моего отца – человека неглупого, но в быту никчемного. Все, что он покупал, оказывалось или непригодным вообще, или требовало переделок. А порой было опасным для жизни: например, лестница-стремянка, которой пользовались в квартире, имела такие узкие ступеньки, что удержаться на них смогла бы только Золушка, и сам отец падал с нее не раз.

По-настоящему удачным оказался единственный снимок, причем сделанный случайно.

В тот год факт меня поразил. Сейчас я знаю, что все лучшее в жизни случается случайно. Ведь, к примеру, никому не известный Бенц, партнер никому не известного Даймлера, не предполагал, что именем своей никому не известной дочери Мерседес – с ударением на средний слог – даст начало культовой автомобильной марке...

Среди моих пляжных знакомцев самым близким оказался Валерка из Новосибирска, неизвестно каким образом оказавшийся на этой базе, принадлежащей отцовскому НИИ. Парнишка был моложе меня года на два, он привлек меня тем, что отличался от ребят нашего города. Мы даже проводили с ним некоторое время за картами, бесконечно играя в подкидного дурака, а порой даже в детскую «пьяницу». При этом около него всегда находилась его мать, достаточно сочная – как понимаю я теперь! – женщина лет тридцати пяти. Она меня не привлекала, потому что имела слишком короткую стрижку, всегда носила большие темные очки и дурацкую кепку, подходящую скорее какому-нибудь Дербаку, чем женщине, к тому же курила. Но однажды, фотографируя Валерку по его просьбе, я шелкнул и ее. Быстро навел свою «Чайку», попросил улыбнуться, нажал на спуск и тут же забыл о снимке – сделанном из вежливости, поскольку Валеркина мать как женщина меня не интересовала ни капли.

Но когда, закрывшись в ванной у себя дома, с вывернутой лампочкой и красным фонарем, я просматривал через фотоувеличитель свои ужасные по качеству пленки, этот снимок привлек внимание резкостью. Тогда я еще не знал, что лучше всего в таких делах получается то, ради чего не стараешься, просто положил под увеличитель листок фотобумаги и сделал отпечаток.

Но уже в процессе проявления понял, что снимок хорош не только резкостью.

Не ожидав съемки, Валеркина мать сильно нагнулась вперед, купальник отошел от тела и показал мне все, что я так долго и тщетно пытался зафиксировать у других женщин.

Потратив достаточно много времени, экспериментируя с выдержкой печати и степенью проявления, я добился идеального результата.

На карточке формата 10x12 Валеркина мать беззаботно улыбалась из-под своих всегдашних очков, но в промежутке за чашечкой купальника обнажилась круглая, как яблоко, неверо-

ятно белая в сравнении с загорелым торсом грудь, украшенная хорошо различимым темным соском.

Надо ли говорить, что на некоторое время настоящая мать моего недолгого приятеля заменила рисованную голую Таню.

Последняя, надо сказать, мне уже поднадоела и осенью я собирался попросить Костю, чтобы он раздел для меня какую-нибудь другую девчонку.

Но все-таки эта фотоохота за женскими телами стала одним из ярких воспоминания отрочества.

Сейчас я понимаю, что существуй в те времена мода загорать топлесс, я бы просто умер.

Современные мальчишки с младенчества накачаны порнографией, умирать они не собираются, не интересуются всерьез ничем.

Счастливые – и невыразимо несчастные в своем всезнайстве – они не смогли бы испытать тысячной доли восторга, испытанного мною от зрелища, которое оказалось столь захватывающим, что я помнил его долго, хоть и не сумел сделать снимка, по закону подлости оказавшись без фотоаппарата.

Впрочем, фотографировать там было в общем нечего, тем более, что моя убогая «Чайка» все равно не передала бы динамику события.

Да и вообще, я скорее принимал ситуацию в совокупности факторов: слышал, обонял и домысливал – нежели просто видел происходящее.

Но по комплексу невероятно сильных, почти шоковых ощущений тот момент сравним лишь с одним другим из всей моей жизни: известием о том, что мои научные работы приняты на соискание на шведской премии Миттаг-Лефлера.

Странность ощущений заключалась в том, что принятие произвело на меня большее впечатление, чем присуждение этой премии.

Тому имелись причины особого характера. Номинировал свои работы я сам, хоть и от имени Академии Наук, но они сильно выходили из сектора интересов премии, и я сомневался, что их примут к рассмотрению.

Но сейчас я вспомнил не о премии, а о потрясающем мальчишеском опыте.

## 8

Мы с Валеркой играли в «дурака», и мне вдруг захотелось писать.

Бежать для этого дела в домик не хотелось, общественный туалет был страшнее ядерной катастрофы, я привычно вышел за парапет и углубился в кусты.

Но, найдя приличное место, замер от странного звука.

Что-то журчало – громко, отчетливо и... незнакомо.

Я замер, боясь шевельнуться. Потом, перетекая по воздуху, осторожно переместился в направлении источника звука.

И увидел женщину.

Лица ее я не рассмотрел: верхняя часть была загорожена горизонтально нависшим суком дикой сливы.

Это могла быть хоть жена отцовского приятеля, мать грудастой Наташи, хоть Валеркина мать, чьего тела я не разглядывал.

Я мог сказать точно лишь то, что это – не Алла Эдуардовна, жена дяди Славы, обладавшая грудью острой, как пара ракетных головок. Она никогда не купалась, ссылаясь окружающим на какие-то «женские проблемы», и все три недели просидела на пляже, не переодевая одного и того же красно-желтого купальника.

Купальник дяди Славиной жены относился к разряду тех, какие я видел на пловчихах, гимнастках и исполнительницах аэробики: он был цельным и состоял из нижней части, непрерывно переходящей в верхнюю.

То есть являлся топологически связным, хоть и не односвязным, поскольку имел две дырки для продевания рук и две – для ног.

А на меня из-под колышавшейся листвы смотрели блестящие колени, которыми заканчивались бедра, ровно посередине перечеркнутые спущенными купальными трусиками с вывернувшейся белой подкладкой.

Откуда-то из промежутка между ними, из-под вершины «наблы», которую я не видел, но представлял по Костиным нескромным рисункам, бежала вниз винтообразно завернутая желтая струйка.

Она падала с шумом, образуя пенистую лужицу, которая быстро ширилась, темнела и еще быстрее светлела по краям, впитанная исстрадавшейся от жажды крымской почвой.

Я стоял, замороженный зрелищем, жадно вдыхал незнакомый, терпкий и соблазнительный запах – зная, что именно мне хочется сделать прямо сейчас, и опасаясь быть застигнутым.

Когда струйка иссякла, превратилась в капли, исчезла совсем, бедра сдвинулись и ушли вверх, исчезли вместе с трусами. Через несколько секунд в лужицу, которая еще блестела, но уже не пенилась, откуда-то сверху упала скомканная бумажная салфетка, такие стояли на столиках в столовой нашей базы.

Листва прошуршала громче: неопознанная незнакомка выбралась из-под кустов и ушла обратно на пляж.

Увиденному наверняка позавидовал бы сам Костя, ведь вряд ли его радикальная мать мочилась голая во дворе.

Я все еще не шевелился – салфетка нехотя развернулась, показала темное влажное пятно в середине.

На всякие случай оглянувшись, я пригнулся и пролез под кусты.

Последовавшее за этим, пожалуй, описывать не стоит.

Скажу лишь, что в кустах на краю базы отдыха было уютнее, чем между гаражами за кинотеатром «Родина». Брезгливостью относительно главнейших женских мест я не отли-

чался даже в те времена, когда этих мест еще не знал. А обоняние реального оказалось более сильным фактором, чем воспоминание об увиденном.

\* \* \*

*Длинноногая Папкина Оксана двигалась медленно.*

*Я сильно сомневался, что ее вусмерть огорчила смерть мужниной бабушки.*

*Вряд ли невестка была слегка беременна – в этом я сомневался еще сильнее, поскольку знал стремление современной молодежи жить без детей, покуда получается.*

*Просто она думала о чем-то своем, не связанном с происходящим в данный момент*

*Да и вообще на этих поминках не было той атмосферы, которая обычна для большинства по-российски праведных семей.*

*Ирина Сергеевна всю жизнь прожила замкнуто, не подпускала никого слишком близко – и даже фактом своей смерти не создала обстановку безудержного горя.*

*А о том, чем стал для меня ее уход, не знал никто.*

## Часть четвертая

### 1

Лето в родном городе бежало к концу быстрее, чем в Крыму, где время для меня в какой-то момент замедлилось и почти остановилось.

Незаметно подошел ненавидимый нормальными детьми день 1 сентября, которые в нынешние времена, словно в насмешку, объявили праздником.

Подчиняясь прежней, оставшейся от младших классов привычке, с букетами гладиолусов собрались у школы повзрослевшие на целый класс мальчики и девочки, которым не хотелось погружаться в остопротивевшую до тошноты учебу.

В советские времена насаждался миф о *«школьных годах чудесных»* и *«учительницах первых моих»*. Может быть, для кого-то так все и было, хотя я всегда считал, что можно любить учиться чему-то, но нельзя – учиться где-то и с кем-то вместе.

Впрочем, на восприятие всего этого изначально накладывает неупругую деформацию сама моя личность.

Я, как показала жизнь, человек глубоко несоциальный, хаусдорфовый. Я – индивидуалист, каким не может не быть ни один прирожденный математик, людей я в общем не люблю и в них не нуждаюсь. Это, конечно не означает, что я черств по отношению к своим близким, как раз наоборот: близкие есть моя неотделимая часть, в них сосредоточивается весь мой мир, за пределами которого меня никто не интересует. Абстрактная любовь к людям не видится мне атрибутивным признаком умного человека, по сути мне вообще никто не нужен, кроме себя самого, я самодостаточен в малой вселенной, включающей меня, главных близких и горстки друзей.

По большому счету, меня давно тяготит жизнь в России.

Не по финансовым причинам, а потому, что мне чужд русский социум.

Я бы хотел жить в другой стране, цивилизованной – где годы, затраченные на создание самого себя, позволяют достичь вершин абсолютной хаусдорфовости, отъединиться от общества. От всего, что описывается ненавистным словом *«коллектив»* или еще худшим – *«община»*.

То есть ни с кем не здороваться, даже не глядеть ни на кого ни в лифте, ни во дворе.

Если сломается машина – не уповать на окружающих, а звонить в автосервис, где я оплачиваю карту круглосуточной помощи на дорогах.

Если дома мешает сосредоточиться лай собаки за стеной – не идти разбираться, а просто вызвать полицию. Причем не косорылого уroda с двуглавым орлом на рукаве, озабоченного лишь сбором мзды с наркоманов. Впустить обаятельного громилу негра, который разберется за пять минут, ни разу не пригасит белозубой улыбки. Но через неделю после события соседа вызовут в суд и там – тоже без лишних слов – приговорят к такому штрафу, что ему придется продать последние портки.

А если в супермаркете мне скажет хоть одно лишнее слово какая-нибудь деревенская оторва, сидящая на кассе – тоже не отвечать, даже улыбнуться. И тут же пойти к менеджеру торгового зала и пожаловаться, на следующий день удостовериться, что ее уволили. А если нет – позвонить руководителю повыше, чтобы уволили вместе с менеджером.

Человек моего статуса должен жить по-человечески, никому не угождая; угождать должны мне.

Возможно, мои взгляды грешат излишней радикальностью, но что есть, то есть: людей я не люблю, и чем дальше – тем больше.

Умный человек людей любить не может.

Хотя, в отличие от одного известного человека, собак я тоже не люблю.

Люблю я только тех, кто не гадит мне на каждом углу, вообще не делает мне ничего плохого. Например, красных снегирей, которые каждую зиму прилетают во двор к нам с Нэлькой и за два дня склевывают всю рябину, которая с осени осталась на ветках.

Но я отвлекся от школы, которую вспомнил в последовательности событий.

Мне школьные годы никогда не казались чудесными, а своих учителей – и первых, и вторых и *N+1*-х – я вычеркнул из жизни как не заслуживающих занимать ячейки памяти.

В определенном возрасте я понял, что свою «родную» школу №9 мне хочется разбомбить, а бывших одноклассников расстрелять на развалинах – по одному, чтобы каждый успел прочувствовать ожидающую участь.

Теперь я понимаю причины такого отношения.

Микрорайонная школа №9 была самой обычной, а я всегда возвышался над общим уровнем. Меня там не ценили по достоинству.

Как я понимаю теперь, иного отношения не могло возникнуть.

Ожидать адекватности в школе, где девяносто процентов учеников являлись детьми быдла, было тем же самым, что удивляться невниманию к томику писем Пушкина на полке, заставленной детективами.

Там вообще все ориентировалось на примитив. Даже девчонки, не обращали внимания ни на меня, умного и тонкого, ни на Костю – утонченно чувствительного будущего живописца; их кумирами были альфа-самцы типа brutального дегенерата Дербака.

Но и тем сентябрем восьмого класса я с особой остротой ощущал свою имманентную чужеродность школе, чужеродность миру убогих сверстников, подкрепленную тем, что меня ждала ВЗМШ с надеждой на грядущее поступление в МГУ, а наша учительница математики Нина Ивановна путала обозначения координатных осей

Сворачивая к знакомому кварталу и думая, не сунуть ли мне чертовы гладиолусы в первую же пустую урну, я с внезапным удивлением осознал, что даже в последние дни каникул мы с Костей не предприняли попыток контакта.

Увидев его в толпе, я почувствовал запоздалый стыд – словно позабыл своего друга, хотя на самом деле ни капли не забыл – и побежал, не скрывая радости.

Но уже издали я заметил, что одноклассник изменился.

Он стоял передо мной, мой друг, маниакально увлеченный взрослыми тайнами жизни – друг, с которым мы ходили по улице Ленина, наслаждаясь тенью трусиков под полупрозрачной юбкой какой-нибудь тетки – и в то же время это был совершенно другой Костя.

Каким прежде он никогда не был, но каким останется навсегда.

Это мелькнуло во мне необъяснимым озарением за секунду до того, как мы обменялись первыми словами.

Как ни странно, я мгновенно догадался о причине перемены. Впрочем, ничего странного в том не было; это сейчас, когда утихли страсти и сместились ценности, я бы начал задумываться, что могло изменить человека за каких-то полтора месяца. Но когда единственным смыслом жизни и единственной серьезной ценностью была всего одна, жгучая и непостижимая тайна...

Тогда все стало ясным без слов.

Целый шквал... да какой шквал...

Буря.

Торнадо.

Цунами прокатилась через меня, обдала душным валом чужих впечатлений, подбросила и уронила и ударило – и, протаскив через чужие обломки, бросила на свой, по-прежнему пустой и уютный, но почему-то тоже изломанный берег.

– Костя, ты...

Я осекся. Что-то мешало задать вопрос, который всплыл из подсознательных глубин предвидения.

Замолчав, я поднял глаза.

Около школы стояли младшеклассники, которым до сих пор не терпелось вернуться на каторгу парт. Они гомонили, и верхушки букетов колыхались над белыми бантами и фартуками, словно обломки жизни на пенных штормовых волнах.

На отлете крыльца уже ждал, с баяном на плече, наш учитель пения. Высокий, сутулый, в старомодных очках и серой конфедератке, которую носил в любое время года, он напоминал пленного немца, несчастного бывшего бухгалтера, какими их изображали в советских фильмах про войну. Оправдывая свое прозвище «*Махорка*», баянист сине дымил «*беломориной*».

На другом отлете сияли ляжки, которые за лето стали еще глаже.

– ...Ты нарисуешь мне голую Лидку Сафронову?

Вопрос был глуп и неестественен. Сафронову ребята из определенного круга аттестовали как «*первые ляжки школы №91*». Но ее чрезмерные окорока мне не нравились – равно как и Косте – мы это обсуждали много раз, разглядывая ее на физкультуре и отмечая, что в трико она хуже, чем в юбке.

Поняв мое смятение, друг повел плечом, не отвечая.

– Я не то хочу спросить, – вздохнув, сказал я. – Ты?..

Я в самом деле что-то понял, сразу и вдруг.

В наших отношениях не имелось табу на обсуждение эротико-теоретических деталей, но делиться чем-то про себя было не принято, взаимный обмен опытами отличался минимализмом.

И поэтому больше ничего я не спросил.

Костя посмотрел на меня понимающе и сказал всего одно слово:

– Да.

Мне стало ясно, что за этим «*да*» кроется бездна событий, эмоций и впечатлений: и сдержанность, не позволяющая радостно поделиться пережитым, и щемящая грусть – видимо, оттого, что все произошло в лагере и в городе повториться не может.

И слышалось еще что-то, не до конца ясное и меня напугавшее.

Хотя нисколько не удивившее.

К тому, кажется, все и шло.

Только я был на базе отдыха со взрослыми и всего лишь подсмотрел, как женщина писает, а он попал в гущу сверстников и получил больше.

– Ну... и как? – все-таки уточнил я.

Ведь при сдержанности общения мы оставались мальчишками.

– Нормально, – Костя пожал плечами, спокойно и почти равнодушно.

Этого я не ожидал.

О том, что представлялось нам бушующим пламенем, чем-то страшноватым, но невероятно сладким, хватающим и уносящим черт-те куда, просто нельзя было сказать «*нормально*».

Так стоило отозваться о каком-нибудь никому не нужном велосипедном походе, или о несъедобной лагерной еде.

Но никак не о первом опыте с первой женщиной.

– Она была из твоего отряда? – поинтересовался я, глядя на Таню Авдеенко, которая подошла к школьному крыльцу, но на него не поднималась.

Я попытался увидеть себя на месте Кости и ее на месте той, с которой ему было «*нормально*».

Наслаждаясь мысленно с Таней, я все-таки полагал, что мыслимое нереально. По крайней мере, в обозримом интервале времени, каждый миг кажущемся бесконечным. Ни с ней, ни с кем угодно, для меня пока нереально в принципе.

Но оказалось, что для кого-то это реально, и факт испугал.

Видимо, при всей изощренной греховности, я не был готов к вступлению во взрослый мир.

– Нет. Не из моего. Вообще не из отряда. Взрослая.

– А... сколько ей лет? – осторожно спросил я.

– Тридцать четыре, – не моргнув глазом, ответил Костя.

– Трид...

Я поперхнулся.

По тогдашним понятиям, в таком возрасте следовало думать о подборе места на кладбище.

Я не знал, какими словами расспрашивать Костю дальше.

Хотя бы как именовать эту женщину.

«Возлюбленная»? «Партнерша»?

Слова казались бредом: эта возлюбленная годилась ему в матери.

Костя пожал плечами еще раз и поведал обо всем.

Слова падали мне в душу, я пережил случившееся сам.

## 2

Первой Костиной женщиной оказалась воспитательница.

Пионервожатая, как в те годы именовались сотрудники лагерей независимо от возраста тех, кого куда-то «вели». Разумеется, то была не обычная школьная вожатая – свежая вчерашняя выпускница – а зрелая тетка с завода, где служил инженером Костин отец. Лагерь был заводским, на летнюю работу нанимались оттуда.

«Пионеры» спали в прокисших палатках, «вожатые» жили в цивилизованных помещениях; основная часть занимала общий корпус вроде небольшой казармы. Некоторые расселились в маленьких домиках, каких в лагере имелось несколько штук.

Домик этой – Костя не назвал ее имени – стоял в стороне, она каждый вечер после отбоя ходила купаться на пруд.

Пруд тоже был лагерным; огромный, с одной стороны он имел песчаный пляж и мелководный участок, огороженный сеткой, а с другого оставался почти диким, прятался среди кустов.

Разумеется, купалась вожатая голой.

Вероятно, с этой целью она и отвоевала себе уединенное жилище – не просто отдельное, а удаленное от прочих.

Женщина Кости раздевалась на берегу, оставляла летнюю одежду на какой-то коряге, медленно входила в воду и не спеша, с наслаждением, плавала по кругу. По краю пруда высились непроходимые кусты, соглядатаев не имелось: остальные воспитатели, мужчины и женщины, где-то пили, пели под гитару и занимались всем тем, ради чего, собственно, и ехали прочь от жен, мужей и иных сдерживающих факторов.

Сами пионеры тоже развлекались, но в стороне, противоположной казарме вожатых.

Развлечений акселерирующих школьников касался анекдот тех времен, из которого я помню лишь финальную строчку, не имеющую смысла, но отражающую суть:

– *«На хер, на хер!!!»* – закричали пьяные пионеры...

Как и в школе, в лагере Костя не обрел друзей.

Вечерами он был предоставлен самому себе – тихонько ускользал из общей компании и бродил по темной территории. На второй или на третий день своей смены он случайно обнаружил это чудесное место и его бесстыдную обитательницу.

И, не веря счастью, целую неделю беззаботно наслаждался зрелищем.

Примерно так, как между гаражей – но более пронзительно, чем удавалось мне, созерцая женщин в купальниках на крымском пляже.

После первых Костиных описаний меня прорвало.

– ...У нее были красивые груди?.. Большие?.. Толстые?.. Круглые?.. Или шаровидные?.. С красивыми сосками?.. С такими, как ты нарисовал Таньке сначала, или как переделал потом?.. А ноги были толстые?.. Или длинные?.. А задница?... Круглая или так себе?.. А губы? Большие и эти самые, малые, ты наконец рассмотрел?..

Я сыпал вопросами и сам чувствовал их глупость: какая была разница, какой формой обладали соски этой женщины; как росли ее груди? Главное, что они имелись и – как я уже догадался – их удалось попробовать на ощупь. А уж ноги сами по себе вообще не представляют важности. Красивые ноги, конечно, никому не мешают, но главным является другое.

Костя отвечал довольно снисходительно. Точнее, сдержанно и без энтузиазма, как о пережитом однажды и уже потерявшем ценность.

Грудь – они и есть грудь. На ощупь приятные. Мягкие, но далеко не такие упругие, какими кажутся, пока не потрогаешь. У Розки, конечно, грудь почти жесткая. У Таньки, у Лидки, Людки, Вальки, Гальки, Маринки или Наташки грудь наверняка тоже упругие. Но девчонки существенно моложе. А у этой... У этой не было ничего особенного – мягкие, как подтаявший студень, только чуть теплее.

Соски... Соски переменчивы, как луна – он еще раньше понимал по наблюдениям через одежду, а теперь убедился в реальности...

А то, что прячется между ног...

Это особая тема.

Друг рассказывал почти отрывисто.

Он тщательно подбирал слова и делал паузы, когда мимо нас проходили одноклассники и их требовалось отшить прежде, чем прозвенит звонок.

Вероятно, он тоже чувствовал, что до того момента, когда нас поведут по местам, надо выяснить самые важные детали события.

А событие было Событием с большой буквы.

Костина ситуация развивалась по сценарию, о каком я мог только мечтать.

Я, разумеется, дополняю рассказ своими домыслами.

Точнее, говорю то, о чем мой друг, по привычной сдержанности, не говорил прямо, оставляя смысл между слов.

И, пожалуй, расскажу все, как было, с самого начала.

Причем, наложив на прежние воспоминания опыт последующих лет, позволю себе описывать некоторые моменты в мельчайших деталях. Хотя сам Костя был на них довольно скуп.

В первый вечер мой друг, распаленный за день обилием полураздетых девчонок на пляже, отправился куда-нибудь подальше от всех, чтоб в одиночестве заняться привычным делом.

Ему повезло: он двинулся наугад и у дальней границы лагеря вышел к дикому месту пруда, выбрал пригорок для уединения. Там дул легкий ветерок, делая нестрашными комаров – впрочем, в советские времена комаров в лагерях практически не водилось, поскольку их травили до заезда первой смены. На этом чудесном пригорке имелось даже бревно у холодного кострища. Сев поудобнее и закрыв глаза, Костя принялся фантазировать.

И вдруг послышались совершенно реальные шаги.

Мгновенно затихнув, раскрыв глаза, отпрянув к темным кустам и превратившись в зрение, Костя увидел, что по тропинке к пруду спускается человек.

Ночное небо было прозрачным, высоко висела яркая нарастающая луна и, проморгавшись, мой друг понял, что это – женщина.

Не девчонка – пусть самая волнующая из всех виденных и невиденных – а именно женщина, это было ясно по походке. То есть одна из пионервожатых, иных женщин тут не имелось.

О поварах или судомойках Костя не подумал и, как оказалось впоследствии, оказался прав. Впрочем, обслуживающий персонал лагеря существовал отдельно от всего прочего.

Костя решил, что вожатая спустилась что-то постирать, и решил продолжать дальше.

Несомненно, только полная дура стала бы стирать в пруду, развернувшись лицом к берегу.

Однако действительность превзошла ожидания.

Остановившись на берегу, женщина достала сигареты.

В последнем не было ничего странного; по опыту летнего пионерства Костя знал, что все вожатые в лагерях курят и пьют. А те, которые в начале строят ангелов во плоти, к концу заезда дают сто очков вперед всем прочим.

Курила воспитательница долго. При этом она стояла неподвижно, глядела за пруд. Пионерская юбка на ней была по-пионерски короткой; никуда не нагибаясь, вожатая несколько минут демонстрировала Косте такие сочные ляжки, что он готов был завершить процесс.

Но завершать мой друг не спешил, поскольку нечто подсказывало, что курение – лишь начало.

Костя замер, боялся дышать. Шипение окурка, упавшего в пруд показалось раскатом грома.

Накурившись, воспитательница разделась догола.

На это ей потребовалось всего несколько движений.

Пионерский галстук в лагере не носили лишь во время сна. Его завязывали раз и навсегда, а снимали через голову, расслабив узел. На освобождение от пионерского атрибута воспитательнице потребовалось меньше времени, чем я это описал. Костя не успел вздохнуть, как кольцо галстука валялось на песке.

Белую рубашку с короткими рукавами, конечно, пришлось расстегнуть, но ее железные пуговицы были крупными и поддавались вслепую столь же быстро, она отправилась следом за галстуком. Костя признался, что в этот момент его обдало таким густым духом подмышек, что он едва не перевалил пик.

Но он сдержался.

Бюстгальтера под безрукавкой не обнаружилось, это и обрадовало и удивило. Правда, через несколько дней Костя понял, что удивляться стоило, найдя хоть одну пионервожатую, которая бюстгальтер носит. Ведь наличие этого предмета туалета осложняло тесное сотрудничество воспитателей мужского и женского пола: без него рубашку можно было даже не расстегивать, а задрать в любой момент и столь же быстро опустить при неожиданном появлении пионера.

В общем, рубашка упала светлым пятном и Костя увидел молочные железы. Очень белые, очень большие, они показались невероятно длинными. Сосков мой друг не увидел, их словно не было.

Они, конечно, имелись на положенных местах – позже Костя их нашел – но, вероятно, имели одинаковый цвет с кожей.

«Вероятно» было полностью обусловлено. Эта воспитательница пионерводила в младшем отряде, за всю смену он ни разу не пересекся с ней днем. Ночью они не зажигали света, а луна у пруда все-таки сияла недостаточно. Он вообще узнал ее больше на ощупь, чем на глаз. Невьясненным остался даже точный цвет ее волос – и там, и там – потому что ночью все кошки серы.

Женщина взяла свои богатства обеими руками снизу и потрясла их перед собой, словно провеивая или обтряхивая от налипшего за день мусора. Костю опять обдало женским запахом и он опять еле сдержался.

После рубашки воспитательница освободилась от юбки – синей в реальности, черной в ночи.

На смутно белеющем теле остались только довольно широкие черные трусы.

Постояв еще несколько десятков секунд, женщина сняла их тоже.

Она раздевалась быстро, но спокойно: видимо, жила в отдаленном домике не в первый раз и знала, что тут никто не помешает.

В те годы процесс раздевания женщины казался нам явлением космического масштаба, сопряженным с бурями страстей и вселенскими катаклизмами. Мы как-то не думали о том, что каждая из живущих в мире женщин хоть раз в день раздевается – обыденно и неторопливо, как это делаем перед сном мы сами.

...Будучи математиком, сейчас я могу прикинуть элементарную статистику. Если оттолкнуться от условности, считать тогдашнее количество взрослых особ женского пола равным

одному миллиарду – хотя на самом их было больше! – то с учетом непрерывности мирового времени, разделив это число на количество часов в сутки и количество секунд в часе, можно прийти к потрясающему результату.

Каждую секунду где-то на Земле раздевались как минимум одиннадцать с половиной тысяч женщин!

Если, конечно, ЮНЕСКО не объявит какой-нибудь понедельник – или среду, или пятницу – Всемирным днем женщин, которые спят одетыми.

Но были нам недоступны и эти тысячи и даже какая-нибудь одна, находящаяся за стеной...

Не подозревая о соглядатае, радуясь освобождению после душного дня, пионервожатая закинула руки за голову и постояла еще несколько минут, давая ветру овеять голое тело.

При этом она переступала с места на место и поворачивалась.

На Костю, художественно тонкого человека, этот момент оказал неизгладимое впечатление.

Между ног женщины, от того места, куда они сходились – или откуда расходились – поднимался крутой мыс, поросший пышными кустами.

Я подумал, что мыс обычно выступает вперед, а не вверх; хотя в Крыму на подмытых морем берегах встречались пещеры самой причудливой формы.

Понимая, что словами не объяснить, Костя набросал на тетрадном листе торс воспитательницы. Он мало отличался от рисунков из художественной школы, которые друг показывал весной. Но сейчас я смотрел не на изображение гипсового слепка, а на контур настоящей женщины.

Ее заманчивая область уходила вверх мощным перевернутым клином и длинные густые волосы, казалось, шевелились от ветра. Не будучи наделен каплей художественного восприятия, я не мог найти сравнения для части тела, мастерски изображенной Костей.

...Больше всего – по мощно нависающему обратному склону и по карабкающейся растительности – это место напоминало перевернутую гору. Но я не представлял, как гора может перевернуться.

И поэтому мне пришла на ум – вероятно, не самая тонкая, но зато выражающая ощущения – ассоциация с носовой частью военного корабля. Одного из тех, которые мне доводилось наблюдать в Севастополе...

Густые волосы оканчивались под горизонтальной складкой, а лоно переходило в линию живота. Не впалого, а довольно ощутимого, но хранящего прямой силуэт.

Затем живот раздавался, обозначая легкую припухлость вертикальной линией втянутого пупка.

Через много лет, я понял, что женщина с плоским животом – все равно что мужчина без мускулов.

В Костином наброске дрожала такая сдерживаемая сила страсти, что во мне самом все закипело.

И самым сильным фактором было то, что я смотрел не на мысленно раздетую Нинель Ильиничну и даже не на гипотетический рисунок своей обнаженной матери – у которой я в общем видел почти то же самое – а на женщину Кости.

На реальную женщину, которая реально принадлежала моему реальному другу.

Нет, конечно, все эти слова: «*факторы*», «*гипотетичность*», «*принадлежала*» – написал нынешний умудренный профессор. Тот мальчишка-восьмиклассник, который навсегда остался в зашарканном сером дворе средней школы №9, таких слов не знал, никаких мыслей не думал.

Он просто смотрел на изображение сильно оволосевшего женского лобка, который его друг видел в реальности, и ему до смерти хотелось прямо сейчас... убежать за гаражи.

И боясь пропустить слово, слушал дальше.

У женщины – как понимаю теперь, донельзя измотанной бесконечным днем борьбы с дебилами пионерами – настал час ночного отдыха.

Оставаясь в черных, страшно уродливых форменных туфлях, женщина опустилась на корточки, обернувшись к Косте широкой белой задницей, и звучно помочилась в песок.

...В этом месте рассказа я закрыл глаза и сопоставил рассказ друга со своим опытом из крымских кустов.

Я услышал шипение струйки, меня обволок невыразимо женский запах, я представил все происходящее так, словно сам сидел рядом с Костей.

И отметил, что этим летом мы с другом поднимались к познанию миру параллельно идущими ступенями.

Только он поднялся до конца, а я остановился на площадке.

И, конечно, мне было слегка обидно, потому что я-то увидел лишь разведенные колени, а Костя мог рассмотреть все, что хотел...

Опорожнившись, воспитательница скинула туфли, зашла в воду по щиколотку, снова присела и не спеша помыла у себя между ног.

Здесь мы оба выразили непонимание того, зачем было мыться отдельно, если предстояло полное купание. Но, вероятно, мир женщины никогда не мог полностью открыться мужчине.

...Сейчас, обладая некоторыми опытами – пусть не собственными, но привнесенными Интернетом – я склонен подозревать, что свою промежность воспитательница не только мыла. Но, конечно, в тот год такая мысль не могла прийти в наши головы. Ведь все непристойное, чем упоительно занимались мы с Костей, казалось присущим лишь мальчишкам, но не девчонкам – и уж тем более, не взрослым теткам, которые этих мальчишек и девчонок воспитывали. В частности, запрещали держать руки под одеялом...

Процесс интимной гигиены продолжался долго.

Затем женщина пошла глубже, лениво разгоняя волну. Ступала она очень медленно – хотя, возможно, слишком медленно нарастала глубина пионерского пруда.

Сначала исчезли ее голени, затем подколенные ямочки, потом Костя с сожалением проводил ее зад. Погрузившись до пояса, женщина оттолкнулась от дна и поплыла.

Она делала большие, неторопливые, круги по воде. Костя божился, что груди ее еще сильнее вытянулись и плыли перед ней, как спины китов.

Тогда это казалось фантазией. Но теперь – со слов жены, хирурга-маммолога – я знаю, что величина самой молочной железы у всех примерно одинакова, а объем видимого бюста составляет жир, поэтому грудь легче остального тела и в самом деле может плыть поверху.

Костя сидел почти спокойно; он не спешил, поскольку ожидал, что по возвращении русалки увидит еще что-нибудь.

Наплававшись, купальщица повернула к берегу.

Как художник, с мельчайшими подробностями, друг описывал этапы ее появления.

Вот она обернулась лицом; бюст по-прежнему плыл впереди.

Вот нащупала дно и остановилась. Над водой блеснули мокрые плечи, поймав лунный свет. А длинные груди, слегка ударяясь друг о друга, продолжали колыхаться на плаву.

Несколько раз окунувшись с головой, воспитательница пошла к берегу, поднимаясь над водой. Плечи стали вырастать, а груди укорачиваться, поскольку тянулись вслед за торсом.

Наконец они поднялись полностью и упали на тело. Соски, должно быть, сжались от холода и слегка потемнели, но Костя их так и не увидел, потому что луна светила сзади.

Он еще раз полюбовался ее чудесным, в меру округлым животом.

А она поднималась и поднималась, вот уже на теле зачернел слипшийся, но не потерявший формы треугольник, различить который не мешала даже луна.

Затем обрисовались мощные бедра, до этого момента не казавшиеся выразительными.

Колени быстро поймали слабый свет чего-то небесного, и вот уже пионервожатая – мокрая, голая и прекрасная – стояла на берегу.

Подняв с песка полотенце, которого Костя сослепу не заметил, она принялась вытираться – также медленно и неспешно.

Сначала она вытерла голову, стриженную накоротко, как у всех воспитательниц, вынужденных целое лето жить без горячей воды с общей баней раз в неделю.

Затем обсушила грудь – подняв по очереди каждую молочную железу, вытерла под ними – потом принялась за плечи.

После плеч занялась подмышками, бедрами, коленями... Тело ее было не слишком обильным, но каждая часть требовала внимания.

Когда женщина, раскорячившись, стала отжимать интимные волосы, Костя не выдержал.

После этого, затихнув по-заячьи, уже вконец обессиленный, он с прежним наслаждением наблюдал.

Завершив процесс, голая женщина положила полотенце на плечо, вернулась в воду и быстро постирала трусы.

Выйдя на берег, по очереди ополоснула ступни от песка, вытерла их и вдела в туфли.

Набросила на плечи рубашку, подхватила галстук, кое-как застегнула юбку и пошла, помахивая мокрыми трусами, как черным пиратским флагом.

Очень белые ляжки ее одурающе сияли в ночи.

Все описанное Костей казалось нереальным и возможным лишь во сне – но я не сомневался, что так было на самом деле.

Реальность происшедшего казалась особенно реальной благодаря тому, что в этот первый раз ничего действительно сверхъестественного с самим Костей не произошло.

Дождавшись, пока женщина исчезнет, хлопнув дверью невидимого домика, он вернулся в свою общую спальню и мгновенно уснул сном облегчившегося праведника.

### 3

Надо ли говорить, что в жизни моего друга наступила идиллия, о какой перед лагерем он не мог мечтать.

Костя идентифицировал время ночного купания: жизнь была расписана по часам, воспитатели могли делать что угодно, но отклоняться от графика не смели.

Ускользнув из отряда днем, он пробрался к тыльной стороне пруда и оборудовал себе место не на косогоре возле тропинки, а снизу – на песчаном берегу, где женщина раздевалась.

В кустах, конечно, пытались продолжить жизнь недотравленные комары, но это казалось ничтожной платой за возможность видеть воспитательницу, которая обнажается в каких-то полутора метрах.

Женское тело, пробывшее весь день в несвежей одежде, испускало обонятельную симфонию. То была смесь запаха подмышек, необъяснимый аромат бюста и живота, чего-то еще. Но сильнее всех звучал дух промежности: застоявшийся и в первый момент не очень приятный, через полсекунды он кружил голову.

Так продолжалось безмятежно счастливую неделю, которую мой друг провел в тумане, стремясь быстрее прожить маятный лагерный день и нырнуть в дышащий сладострастными вечер.

Едва звучал отбой, Костя выжидал необходимый срок, выскальзывал из палатки и, прокравшись краем зарослей, заползал на позицию. Однажды уловленная, ситуация повторялась изо дня в день.

Созерцательное наслаждение от реальной женщины могло продолжаться до конца смены, не вырастая во что-то более существенное.

Но найдя оптимальный вариант, Костя на нем остановился.

Кажется, я уже отмечал важное явление, которое мешает спокойно жить.

В те годы мы еще не знали, но чувствовали, что природа сексуального не имеет горизонтальных асимптот. Даже самое сладкое наслаждение на второй, максимум на третий раз становится недостаточным. Единожды выпущенный на волю, бес похоти гонит вперед, вынуждая совершать не всегда разумные поступки.

Последнее я понял во взрослом возрасте, но сейчас речь не об этом.

Костю, без удержу пьющего эротическую чашу, томила возрастающая жажда.

На исходе благостной недели, уже не удовлетворяясь визуальным образом «*русалки*» в темных водах, он не вынес искушения.

Дождлся, когда она отплывет подальше, выскользнул из кустов, метнулся к груди ее вещей и схватил черные трусики, лежавшие поверх всего прочего.

Воспитательница совершала круги, разгоняла волну длинными выменами, а Костя был на полной вершине счастья, прижав к лицу внезапную добычу.

...Я вспомнил, как наслаждался сам в Крыму, нюхая всего лишь салфетку, которой женщина только что вытерла свою мокрую... писку.

И понимал, что, должно быть скончался от переизбытка наслаждений, если бы вдыхал аромат нижнего белья, весь день пробывшего на потеющем теле...

Костя не скончался.

Но увлекся.

Хотя, возможно, все к тому и шло; мой близорукий друг в темноте видел не дальше кончика носа, а насквозь прожженная любительница ночных купаний все видела и лишь хотела удостовериться в серьезности его намерений.

Так или иначе, Костя был позорно захвачен с трусами в руке.

Воспитательница хорошо знала пруд: отплыв из поля зрения, она выбралась на берег, бесшумно обошла кусты, спустилась по тропинке – и набросилась на пацана, еще дрожащего в конвульсиях.

Оглушив традиционным набором фраз, использующих словосочетания «*мерзкий бесстыдник*», «*гадкий мальчишка*» и «*все узнают родители*», она схватила его за плечо и, не тратя времени, бросив на берегу мало кому нужную одежду, утащила к себе.

Произошедшее потребовало не больше минуты, но обрушило Костину жизнь.

## 4

Человеческая память имеет особую организацию, построенную по стохастическим законам.

Что-то очень нужное, просто-таки необходимое она может удержать с великим трудом ненадолго и потерять в любой момент. А нечто случайное фиксируется надолго – если не навек.

Недалеко от дома, где мы с Нэлькой живем со дня бракосочетания, пролегает красивый бульвар. На его клумбах с весны до осени пестреют сменяющие друг друга цветы, особенно красивые под насаженными в ряд кустообразными рябинами. Они тоже радуют глаз: сначала играют узкими листьями, потом манят наливающимися гроздьями, затем напоминают, что жизнь продолжается в ягодах, краснеющих на голых оранжевых ветках.

Но однажды, проходя мимо самой высокой рябины, я нехотая увидел, что на земле под ней лежит большая куча собачьих экскрементов.

Собаки – не бродячие, боящиеся собственной тени, а откормленные и наглые домашние – загадили весь наш город, мне давно хочется передуть их владельцев.

В тот день я просто ускорил шаги, стараясь пройти быстрее. Но память поместила увиденное в ячейку типа ROM. Прошло уже пять, если не семь лет, много раз выпадал и таял снег, почва очистилась без следа. Но всякий раз, видя эту рябину, я представляю мерзкого бультерьера, присевшего между кустиками бархатцев в то время как его хозяйка – отвратительная баба в чересчур обтягивающих джинсах и красной куртке – разговаривает по смартфону с какой-то подобной гадиной, чей дог испражняется на другой клумбе.

И в последнее время я стараюсь обходить этот бульвар стороной.

Точно так же произошло с моей школой №9.

Сама по себе она не улучшилась, но стала не хуже других, некогда выдающихся. Одного из сыновей, будущего компьютерщика Петьку, мы с женой отдали в нее, чтобы он не тратил времени на дорогу: почти все школы города стали одинаковой дрянью, не имело смысла тратить время на дорогу.

Более того, школа №9 получила статус не то гимназии, не то лицея и даже накинула на плечи утлую хламиду ЮНЕСКО.

Квартал, где стоит этот «лицей», полностью переменяет лицо.

Давно снесен двухэтажный деревянный дом, где в лабиринтах дворовых построек курили друзья будущего уголовника Дербака, когда грудастая Нинель Ильинична устраивала общую учительскую облаву. Сейчас там взгромоздился новый школьный флигель, который своей частью занял и асфальтовый плац перед порталом, у которого собирались узники учебы первого сентября каждого года.

Все это мне приходится видеть чаще, чем бы хотелось. Так получилась, что наиболее короткая и экономичная по расходу топлива дорога из Института математики в университет проходит мимо моей бывшей школы.

И всякий раз, проезжая тут, я невольно нажимаю на тормоз.

Потому что, глядя в боковое окно, под фундаментом нового здания вижу то место, где друг рассказывал о своем то ли взлете, то ли падении.

Ведь я был уничтожен лавиной эмоций, всколыхнувшихся от Костиного рассказа.

Первым чувством, конечно, была черная зависть к однокласснику, помноженная на досаду в адрес родителей. Если бы они не потащили меня в осточертевший с рождения Крым, где я мог всего лишь наблюдать переодевающихся и писающих, а отправили в обычный пионерский лагерь, я мог бы получить все, что получил Костя. Ведь я был ничем не хуже его.

Следом шел страх – точнее, опасение за друга.

Еще точнее – почти взрослое сознание факта, что происшедшее с ним, особенно в варианте с престарелой пионервожатой, является преждевременным. И при всех прочих обстоятельствах Косте следовало повременить с вхождением во взрослый мир хотя бы года на два.

Затем я мучился непониманием того, что взрослая женщина – наверняка чья-то мать – занимается делом, о котором в ее возрасте давно пора забыть. Да и вообще, как получилось, что люди, которых послали в лагерь кого-то воспитывать, сами занимаются непотребством?

В тот день мною владело именно это.

Потом, с течением времени, отношение стало меняться.

Зависть сменялась сочувствием, страх – облегчением, непонимание улетучилось, вытесненное собственными опытами.

Но тем не менее, день Костиного откровения означил некий перелом в моем мировоззрении. По крайней мере, подготовил меня к осознанию следующих сущностей.

Сейчас, конечно, я вижу все, происходившее с нами в прошлом веке, под другим углом зрения.

Рожденным и опытами жизни и принятием быстротечности бытия.

А прежде всего – знаниями, которых тогда не было.

## 5

Теперь я понимаю, что во все времена бригады для обслуживания ведомственных пионерлагерей формировались из особого контингента. Ездили туда типы определенного сорта, которым лето в городе не несло особой радости.

Мужчины – в основном тихие, незапойные безобидные алкоголики.

И женщины, готовые вскочить даже на ручку от лопаты.

Все морали одинаково лживы и пытаются возвести в абсолют то, чего не может существовать.

Но коммунистическая мораль в своем воинствующем ханжестве превзошла христианскую.

Ведь если попы женскую чувственность порицали, то коммунисты ее отрицали.

Одной из самых вредных гендерных химер коммунизма являлась та, что в сексе якобы мужчина домогается, а женщина терпит.

О том бесконечно врал социалистический *«реализм»*, в котором реальности было столько же, сколько в каких-нибудь маяковских *«окнах РОСТА»*.

Этой ложью советским людям заporошили мозги до такой степени, что они сами начинали в нее верить.

Например, моя мать, женщина в общем неглупая: дура не могла бы достигнуть довольно высокой должности и продержаться на ней до выхода на пенсию – внушала мне такие вещи, над которыми посмеялся бы сегодняшний первоклассник.

Впрочем, о матери я вспоминать не стану. Признавая ее значимость как профессионального работника, я не ставлю ее в грош как воспитательницу сына, чьей обязанностью было минимально подготовить меня к вступлению в мужскую жизнь.

Да и вообще, родители – и она, и отец – в этой области не принесли мне никакой пользы, от них исходил лишь вред. О том я, кажется, вкратце говорил, повторяться не вижу смысла. Скажу лишь то, что своих родителей как родителей – а не как полноправных членов советского общества – я никогда не уважал, уважать их было не за что.

О них я, пожалуй, больше вообще не скажу ни слова.

Родители надоели мне за первые пятнадцать лет жизни, не дав мне для реальной жизни ничего. Дальше в нужном направлении мне помогали другие люди... другой человек, но до рассказа о нем время еще не пришло.

Тут я просто хочу сказать, что образ поведения лагерных воспитателей полностью укладывается в рамки реальных человеческих отношений.

Во всяком случае, сейчас мне не кажется ни странным, ни исключительным, ни даже просто ужасным то, что поведал Костя.

*«Пионервожатая»* не применила к нему карательных мер – точнее, применила специфические. Мой друг не подвергся публичному позору, только с того вечера до конца смены не ночевал в своей палатке.

Он укладывался вместе со всеми после отбоя, потом тихо исчезал. Неблизкие товарищи, покуролесив где-нибудь у тайного костра, выпив дешевого вина, и потискав сверстниц, через пару часов возвращались. А Костя приползал лишь под утро, невесомый от усталости.

Ночи он проводил в душном домике воспитательницы, где не спал, а работал.

Как именно он работал, я в тот день до конца не понял, да и Костя не склонен был распространяться.

Видимо, им владело двоякое чувство.

С одной стороны, в опыте имелись какие-то эпизоды, которые ему было противно вспоминать.

А с другой, в безудержном сексе со взрослой женщиной не могло не быть совсем уж ничего приятного – но на первое сентября все ушло безвозвратно вместе с летом и он не мог о том не тосковать.

Вспоминая Костю в зрелом возрасте и сопоставляя его рассказ с собственным опытом, я не сомневался, что эта безымянная женщина не выходила из разряда обычных. Просто она не была холодной курицей женского рода, каких насаждали в качестве примера для подражания и попы и коммунисты. В «гражданской» жизни добропорядочная, но не удовлетворенная чувственно, на воле она выпускала своих бесов и каждое лето предавалась греху, совращая подходящего «пионера».

А с моим другом ей сказочно повезло: он сам упал в ее руки.

Но, повторяю, все это я понимаю сейчас. А тогда я был шокирован, смят, раздавлен.

Расперт изнутри потребностью немедленно узнать все подробности, которые требовалось выяснить немедленно, на этом самом месте.

Меня трясло от мыслей – точнее, от фантазий о том, как все происходило с Костей. Я был сейчас с ним и не с ним – я оказался на берегу того пруда и именно меня схватила за плечо женщина, порочно облитая ненастоящим лунным светом.

Подняв глаза от Костиного рисунка, я опять увидел школьное крыльцо.

Махорка курил на прежнем месте, рядом с ним поднималось другое облако дыма: к музыканту присоединился невысокий, седой и лысый физик Моисей Аронович с трубкой. Он курил душистый болгарский табак.

Таня Авдеенко поднялась к Сафроновой. Я подумал, что, вероятно, стоит наконец потрогать ее коленку под партой.

Да и Лида вдруг показалась аппетитной.

Обе девчонки были хороши.

Пока я их сравнивал, на крыльце возникла чернокудрая Ирина Альтман. За лето ее грудь выросла настолько, что двигалась впереди обладательницы и не сразу останавливалась вместе с ней. Эта превзошла даже Розу Харитонову.

Ира мне всегда нравилась. Но с ней я не общался. Она носила неофициальный титул самой красивой девочки школы, на нее заглядывались и десятиклассники и учителя, и сам Костя говорил, что у Альтман – лицо Девы Марии, перед которым отдыхает Сикстинская Мадонна Рафаэля. Неземная красота Иры не позволяла приближаться к ней лишней раз даже Дербаку, обо мне речь не шла. И, кроме того, Альтман была очень замкнутой и не дружила вообще ни с кем. Сейчас, полный знания обо всем на свете, я могу сказать, что она была вещью в себе.

А сейчас мне подумалось, что...

Додумать не дала Гульнара Файзуллина. Стройная и энергичная, она взлетела на крыльцо одним прыжком и оглянулась. Вряд ли она смотрела конкретно на нас с Костей, но меня прожгли ее злые зеленые глаза. Эту одноклассницу хотелось иметь рядом хотя бы время от времени, чтобы не расслабляться.

На крыльце появилась Марина Горкушина. Она не вошла, а вышла на него из школы. Марина не обладала никакими особыми прелестями, но именно про нее говорили знающие парни, когда поясняли, что именно надо делать с девочкой.

Не успев как следует поразмыслить о Горкушинской пипиське, я опять отвлекся.

Из-за угла школы появились две неразлучные подружки, Алла Бронская и Альфия Зайнетдинова. На Бронскую вряд ли кто-нибудь взглянул бы дважды, а вот пышные тела Зайнетдиновой заставляли глаз остановиться.

Еще в седьмом классе она раздалась до такой степени, что ей, как видно, не удалось подобрать коричневую школьную форму. Родители нарядили ее в зеленое платье, она в нем казалась еще толще, чем была. Наша директриса тоже всегда ходила в зеленом, историк Василий

Петрович однажды спьяну принял Аллу за Нинель и начал урок на пять минут раньше звонка, потом понял ошибку и страшно ругался.

Сейчас мне подумалось, что ходячая подушка Зайнетдинова, должно быть, тоже может таить в себе кладезь наслаждений

Окончательно запутавшись в предпочтениях, я снова обернулся к Косте.

– А она... у нее... где... какое было... – пересохшими губами выдавил я. – Это... Вла-галище?..

– Что – «*влагалище*»? – переспросил друг.

– Ну... как оно устроено... и вообще...

Я краснел и бледнел одновременно; мне казалось, что мой свистящий шепот слышат все одноклассники, все учителя, вся школа и весь город.

– ...Это то, чем женщина писает?

– Нет, что ты! – Костя усмехнулся. – Писает она из такой же маленькой щелки, как ты и я. А во влагалище можно засунуть руку.

– Руку?! – я не поверил.

– Пожалуй, даже ногу, если очень захотеть.

– Ногу...

У меня не было слов; захлестнувшие иллюзии лишали чувств.

– Ну да. Ты знаешь, когда она...

Мимо прошла наша классная руководительница, рыжая учительница русского языка и литературы Алина Андреевна. Костя замолчал, рисунок с «*корабельным носом*» был давно порван, клочки за неимением близкой урны прятались в его кулаке. Но она покосилась на нас с выражением крайнего неодобрения, словно слышала разговор.

Впрочем, наши лица наверняка имели такие выражения, что догадаться о теме беседы можно было, ничего не слыша.

– Так где оно, это влагалище? – продолжал упорствовать я. – Оно в самом деле между ног?

– Ну да, а где ему быть? Не на затылке же.

Я опять посмотрел на крыльцо.

Мила Гнедич – двухметровая кобыла, которая в позапрошлом году заняла у меня одиннадцать копеек на «*школьное*» пирожное и, похоже, не собиралась отдавать – стояла, сомкнув длинные ноги и смотрела поверх всех.

– А когда стоит, его видно?

– Нет, – Костя снисходительно покачал головой. – Иначе бы я его сто лет назад еще у матери рассмотрел.

– А когда сидит?

– Не знаю. Я же говорил тебе – она в домике света не включала, а окно выходит не на ту сторону, где луна..

– Значит, когда лежит?

– Ну да, точно, – вздохнув, Костя проводил глазами Марину, нашу школьную пионервожатую, которой было лет двадцать или около того. – Когда лежит и раздвинет ноги...

– Значит...

– Нет, наверное, все равно ни черта не увидишь, хоть юпитером освети, – перебил он. – Там все волосами заросло, как вон у Альты на голове, и еще хуже.

Костя кивнул в сторону школьного портала.

– Сейчас тут народу много. После уроков я тебе нарисую. И где его искать, и как выглядит, и еще кое-что вообще. Чтобы, если тебе вдруг тоже придется, ты все уже знал...

При словах о том, что мне «*тоже придется*», я кажется, покраснел до такой степени, что задымились уши.

– ...А то в первый раз облажаешься и она будет издеваться.

– Костя, а ты ее там рисовал? – поинтересовался я, глядя на его сжатый кулак

Я вспомнил, как весной Костя набрасывал теоретическое устройство женских частей. А сейчас, когда он в самом деле узнал женщину, то должен был привезти из лагеря целую папку рисунков с натуры.

Точнее, по памяти, если он ничего не видел при свете, но лишь ощущал.

– Ты сдурел, Лешка, – друг улыбнулся с убийственной грустью. – Об этом речи не шло. Ты что – думаешь, мы себя вели как пара влюбленных и так далее?

– Ну... вроде того.

Я пожал плечами.

Я не думал о форме отношений Кости и его воспитательницы. Я просто не представлял, как могут вести себя такие... знакомые в момент, когда общаются, как обычные люди.

– Ничего подобного. Она, по-моему, даже имени моего не знала, я же говорил тебе – она из младшего отряда. Она меня просто использовала. Использовала – понимаешь?

– Понимаю, – я кивнул.

Хотя, признаться, ничего не понимал.

То, что рассказывал Костя, как-то не укладывалось в прежние понятия.

– Но на кого она была похожа? – продолжал я.

Рассказ друга действовал удручающе, но мне хотелось узнать больше.

– Может, ты ее хоть сфотографировал?

– Да я и аппарат с собой не брал, его бы сперли в этом поганом лагере.

Я вздохнул.

Женщина Кости представлялась мне неким белым чудищем, плывущим по черным волнам вслед за своей еще более белой грудью.

– ...Правда, одна карточка есть, – спохватился он. – Я там перед отъездом из лагерной стенгазеты спioniерил.

Сказав это, он слегка покраснел.

И я понял, женщина все-таки оставила у него вечное впечатление

– Вот, смотри, – он оглянулся и быстро вынул из кармана криво оторванную фотографию довольно низкого качества.

Я разглядел женщину.

Точнее, тетку весьма преклонного, как мне показалось, возраста.

С мелкой химической завивкой. С лицом неумным, ничего не выражающим, недобрым – пожалуй, даже злым; такие обычно бывают у учительниц младших классов.

Сейчас я бы сказал, что такие героини в советское время заполняли художественные фильмы про каких-нибудь доблестных трактористок или девушек Метростроя.

Тетка стояла перед расплывшейся в нерезком фокусе линейкой пионеров. В черном – так вышло на черно-белом снимке – галстуке и светлой рубашке, готовой порваться на груди. Темная форменная юбка, как у всех пионерок, начиналась у пояса и почти сразу заканчивалась. Белые мощные бедра лоснились от гладкости, круглые коленки блестели. Но самым главным ощущением, пронзившим меня от снимка было острейшее сознание того, что всем этим богатством владел мой школьный друг Костя.

– ...Сосок у нее левый стоит, видишь? – тихо отметил он.

Приглядевшись, я увидел, что на левой стороне груди белая ткань выперта шишечкой. Правая была плохо видна: тетка чуть повернулась к воспитанникам, готовясь отдать какую-то команду.

Костя покраснел, и я уже не сомневался, что теперь эта карточка служит ему так же, как мне – фотопортрет безымянной матери новосибирского приятеля Валерки.

– Слушай, а как это все вообще? – наконец спросил я.

– Что «вообще»?

– Ну... секс. Это в самом деле очень приятно?

Я имел в виду, насколько приятней ощущать все реально, чем играть с самим собой. Костя, как всегда, меня понял.

– Знаешь... – он ответил не сразу. – Тут сложно. Когда еще только готовишься, одна мысль уже приятна. А потом становится так противно, что еще не все, а уже хочется убежать и отмыться.

Такого конца я не ожидал.

– Неужели так в самом деле? – осторожно уточнил я.

Мои представления о взрослой жизни как хрустальном замке удовольствий рушились.

– Ну не знаю. Может, не всегда и не у всех. Меня-то она заставляла непрерывно сношаться...

Я молчал, понимая новое для нашего лексикона слово.

– ...Нет, она неплохая женщина была и вообще... Но постоянно напоминала: если я хоть одну ночь пропущу, напишет отцу на завод, что я совершал развратные действия в отношении малолетних.

Костя четко выдал формулировку, угроза запала ему в память.

Я не мог этого понять.

Я не мог осознать, как можно принуждать к сексу, если я думаю об этом процессе и день и ночь.

И если бы я, если бы мне...

– А я ни одну ночь не спал, – уловив мои мысли, продолжал Костя. – Это поначалу кажется, что все хорошо без всяких «но», я тоже раньше так думал. Но ты знаешь, понял: любая вещь, пусть даже самая приятная, превращаясь в принуждение, становится каторгой.

Я молчал.

Мне было трудно понять проблемы разом повзрослевшего одноклассника.

– ...И еще прикинь. Это такие усилия. Я словно каждую ночь перепиливал бревно, вот от такое.

Костя развел длинные худые руки, помолчал и добавил:

– И не пилой, а лобзиком.

Я ничего не ответил.

Образ был страшноватым.

Отвратительно загремел звонок.

Махорка бросил недокуренную папиросу и заиграл вальс «Амурские волны»; нас шумно и бестолково повели по классам.

Доведенный почти до безумия Костиными рассказами, за партой я сразу же схватил Танину коленку.

Успев ощутить, что капрон ее колготок шершав, я тут же получил кулаком в лоб. Но Таня была несильно и даже улыбнулась: судя по всему, она решила, что я просто соскучился по ней за лето.

## 6

Дальше все пошло совсем не так, как мы рассчитывали.

На первый урок к нам явилась Нинель в привычном зеленом платье и объявила, что решила реформировать нашу параллель, отделить лучших учеников школы в особый класс.

Мой класс «А» остался неизменным, в него добавили всех «хорошистов» и потенциальных отличников из других, а разгильдяев – первым из которых был Дербак – отсеяли в другие.

Моя соседка по парте училась неплохо, лишь чуть хуже меня – шарообразного отличника, ее куда-то перевели, мы остались сидеть на старом месте. Это меня радовало: за лето Танина грудь существенно подросла и я заглядывался на нее не меньше, чем на золотистые коленки.

Мой лучший друг учебой не блистал; сферой его интересов оставались рисование и женщины, он ушел в полностью отстойный «Г» – который позже, после окончания восьмого, упряднили, разогнав всех по ПТУ.

Переформирование началось сразу же и продолжалось весь день.

Четыре класса заволошно шатались по школе, шарахались из кабинета в кабинет, искали и переносили свои вещи, припрятанные с прошлого года по шкафам. Потом неизвестно сколько времени заняло заполнение новых классных журналов, затем началась жестокая борьба за места: ученикам хотелось рассесться с новыми соседями совсем не так, как того желали классные руководители.

Когда все это закончилось, я чувствовал себя выжатым, как лимон, Костя тоже не искрился бодростью, нескромные рисунки отложились на другой день.

Но другой как-то сразу пошел не так, ведь мы оказались в разных классах, у нас шли разные уроки на разных этажах.

И, не успев вновь сойтись после не в меру радикального лета, мы почти разошлись.

Наше общение сократилось до минимума.

Костя сильно изменился, стал нелюдимым, мало радовался общению.

В мальчишеской среде, подогреваемые иносказательными классными часами на «особую» тему, бродили страшные слухи о неизлечимых венерических болезнях. В определенный момент я подумал, что Костя подхватил от своей избранницы нечто нехорошее и теперь готовится к медленной, мучительной смерти.

Хотя, конечно, такой вариант полностью исключался. В детские лагеря советских времен даже дворником принимали при наличии свежей справки из кожвендиспансера, и при факте свальных оргий, которые устраивали пионервожатые, заразиться от них было в принципе невозможно.

Постепенно Костя слегка оттаял, но наши прежние отношения были разрушены.

Полагаю, что он не мог жить, как раньше, поскольку претерпел чудовищную ломку личности, из безобидного грешника – какими были все мы – превратился в мужчину, причем раньше времени.

Но, конечно, о таких материях я стал думать гораздо позже.

А тогда просто тосковал о невозвратном.

## 7

Как назло, в расплату за изумительно теплую весну и хорошее начало лета, с первых дней сентября зарядили дожди.

Мы жили недалеко друг от друга, но когда из школы приходилось идти по лужам, путаясь в полах душных болоньевых дождевиков, когда Костины «*велосипеды*» делались непроглядными из-за дождевых капель, возможность милых бесед потерялась.

Хотя теперь мне кажется, что все происходило не из-за общего неуютя природы, а из-за Костиного раздерганного состояния.

Лишь один день случайно порадовал и почти напомнил прежнее.

Дождь прекратился вечером, за ночь все просохло и наутро сделалось почти таким, как было летом.

И возвращаясь из школы, мы с Костей свернули посидеть в скверике.

Там было полно девиц, не смирившихся с наступлением осени: в коротких юбках и с сияющими голыми ногами.

Друг поправил очки одним пальцем, привычным жестом, и заговорил очень тихо, но очень бурно.

– ...Леш, ты посмотри вон на эту, ногастую...

Я повертел головой.

Все девицы были как на подбор ногастыми. Да и вообще мне, страждущему абстрактно, ногастость не представлялась важным признаком.

– Да не та... Вон, видишь, в сером плащике и как будто без юбки, закинула ногу на ногу.

Теперь я ее заметил. В самом деле, девица надела столь короткую юбку, что ее не виднелось из-под плаща, и сидела, покачивая коричневой туфлей, вызываяще и невинно.

– Ты... – сбиваясь, заговорил Костя. – Ты посмотри, как верхняя нога легла на нижнюю.

– А которая у нее верхняя и которая нижняя? – не понял я.

– Нижняя – которая на земле. А верхнюю она положила сверху.

– А, теперь ясно.

– ...Ты посмотри, как растеклась верхняя ляжка по нижнему бедру! Оцени форму!

Я вздохнул.

Голые ноги девицы сияли на расстоянии вытянутой руки, но оставались недоступными.

– ...Какую форму, по-твоему, имеет женское бедро в сечении?

Я молчал, опять не понимая вопроса.

– Почти круглую, когда женщина стоит, – сам себе ответил друг. – Но когда садится и бедро принимает горизонтальное положение, оно приобретает форму бруса.

– Форму чего?!

– Бруса. Ну балки такой, прямоугольного сечения. Ты посмотри – сверху оно и сейчас круглое. Там, где лежит на нижнем, набегают. А снизу – в той части, где не видно – почти плоское.

– Ясно, – кратко ответил я.

Я понял одно: Костя вдруг сделался прежним и его понесло.

Я уже не задавал вопросов, он говорил сам; мне оставалось лишь слушать поток его речи.

– ...Ты знаешь, какая у женщины кожа? Очень разная, это только кажется, будто везде одинаково гладкая. На самом деле все зависит от места... Вот возьми, например, эту ногу. Погладь ее сверху от колена – чистый шелк. А проведи по обратной стороне – она вовсе не гладкая... Так же ягодички. Нежная кожа сверху и шероховатая там, чем сидит...

Я слушал, и слушал.

– А грудь... Грудь. Грудь!!! Это вообще самое великое чудо! Она никогда не бывает одинаковой. Кожа такая тонкая, что видно, как жилочки сбегаются к соску....

Облизнув губы, он пояснил:

– Правда, это у матери видел, с ней все было в темноте.

Девушка в сером плаще переложила ноги по-другому.

– Сверху грудь кажется атласной... Но ты ее возьми и подними – и увидишь, что снизу она тоже шероховатая и даже чуть более темная. И еще... Грудь потеет, как и все прочее, но никогда не нагревается; она всегда остается прохладной, даже если становится влажной.

Костя перевел дух и опять поправил очки.

– ...И вообще, Леша... Женское тело – это такая приятная вещь, что...

Длинноногой сидеть ей надоело, или пришло время идти по делам. Она встала, сверкнула трусиками из-под не сразу одернутой юбки и быстро зашагала прочь.

Я отметил, что мой друг как-то сразу сник.

– ...Но...

Я молчал, почему-то боясь следующих Костиных слов.

– Знаешь, Лешка, – сказал он с такой горечью, что мне стало жутко. – Вроде все так здорово – я вот теперь все это знаю не теоретически. Но стало как-то ужасно. Раньше было лучше, если честно.

Мне хотелось задать прямой вопрос, но я не решился.

– Лучше, – повторил Костя. – Лучше получать меньше, но ни от кого не зависеть, понимаешь?

– Понимаю, – кивнул я, хотя ничего не понимал.

– Всему свое время. Вот я раньше жил – имел, что имел и был счастлив, как малосольная пиписька. А сейчас, когда ее... поношал... мне опять кого-то хочется по-настоящему. А где? кого? Таковую же искать? Что-то не тянет. Наши девчонки... Ну, вот, например, ту же Горкушку я могу хоть завтра отодрать на третьем этаже около кабинета химии. Но не хочу. Зачем мне это нужно? И вообще, на таких, которые дают кому ни попадя, мне смотреть страшно, я в них все болезни вижу известные и еще сто неизвестных.

Костя помолчал, провожая глазами парочку четвероклассниц в бантах в косичках.

– И потом ты ведь знаешь, у меня возраст... В моей старой школе был случай, один пацан справлял день рождения, пришла девушка, сама на все согласилась – а потом подала заявление. Ему уже исполнилось сколько надо, а ей еще нет. Он попал под статью и сидит теперь в колонии, причем во взрослой, и его там имеют все подряд, потому что так заведено. Искать девчонку постарше, какую-нибудь студентку? Но нахрена я ей нужен? Не нужен я ей ни на хрен.

Я кивнул еще раз.

– А я не могу уже без этого, не-мо-гу, понимаешь?!

– Понимаю.

– Да ни черта ты не понимаешь, не можешь ты еще понимать.

Костя встал и пошел, даже не поглядев, иду ли я следом.

## 8

Не сомневаюсь, что кое-кто, узнав перипетии Костиной судьбы, аттестует ту пионервожатую нехорошо.

А я считаю, что преступным являлось общество, в котором естественные отношения между полами вынуждены были реализоваться в уродливой форме.

Мне кажется, что для нормального развития, физического и духовного, интенсивная жизнь должна начинаться самое позднее в четырнадцать лет, причем у обоих полов. Ведь либидо больше всего угнетает и направляет не туда, куда следует, именно в том возрасте, когда начинает проявляться. И в определенной мере правы дикари, которые рассматривают девочку как полноправного члена социума с момента ее первых месячных, а мальчика – с его первого ночного опыта. Другое дело, что чрезмерная социализация цивилизованных обществ делает полноценную сексуальную жизнь в раннем возрасте невозможной из экономических соображений. Поэтому либидо, распирающее изнутри и не имеющее выхода, приводит к плачевным результатам.

Я, например, не могу себе представить, чтобы в бушменском племени возникло дело об изнасиловании, или ирокез повесился от несчастной любви, которая на самом деле есть всего лишь неудовлетворенное либидо. Точнее, его деструктивная компонента, которую чересчур умный Фрейд рекомендовал сублимировать через богомольство.

Насаждаемая нашими ханжами асексуальность подросткового возраста, жизнь под черной химерой целомудрия и – что особенно важно – атрибутом добрачной девственности, которым до сих пор машут, как жупелом, убивают саму жизнь.

Будучи ученым, я, как уже говорил, являюсь еще и педагогом, преподавать стал с незапамятных времен – едва начав работать в академическом институте, который тогда еще назывался «*Отделом физики и математики*», где работали математики-теоретики и физики-алкоголики, объединенные гидролизным спиртом.

Физиков в целом, кстати, я считаю никчемными самодовольными придурками. Они строят из себя интеллектуальных властителей мира, хотя на самом деле не могут объяснить, даже что такое электрический ток.

Я всю жизнь общался с молодежью, понимал ее проблемы и знал много такого, о чем не принято говорить вслух.

И давно пришел к выводу, что главной составляющей молодой жизни является секс. А относительно его места тоже есть разные мнения.

Вряд ли кто-то станет спорить, что по совокупности индексов благополучия лучшей для жизни страной являются Соединенные Штаты Америки.

Что бы ни говорили оголтелые патриоты, видящие в каждом американском президенте новый символ мирового зла, но Америка не смогла бы выйти на вершину мирового господства, не имея оптимальную организацию своей государственности, экономики и жизни граждан.

Думая об этом, я хочу сказать об американской молодежи.

Приличные мальчики и девочки растут в холе и неге, поливают цветы, играют в принцесс и воинов и даже слушаются родителей. Но в определенный момент они оказываются студентами колледжа – по сути, находясь в возрасте наших старшеклассников, вступают во взрослую жизнь. Там все, даже неиногородние, живут вместе в общежитии – которое лучше, чем в России семейный дом – и занимаются тем, что присуще возрасту.

То есть отдаются безудержному сексу.

Устраивают оргии, снимают на видео, выкладывают на соответствующих ресурсах, обмениваются партнерами.

И в этом нет ничего противоестественного, мальчики и девочки насыщают свое либидо, одновременно насыщаются опытом, который потом помогает в спокойной семейной жизни. Ведь только безголовые дуры российского пошиба – какой была, например, моя бесконечно приличная мать – могли всерьез утверждать, что связь до брака безнравственна и будущие супруги должны лечь в свою первую постель непорочными.

Не устаю повторять, что тысячу раз прав был Соломон, говоря о времени каждой вещи под солнцем. Порой мне кажется, что безудержный разврат в молодости является залогом благополучия в зрелости, которая в общем от секса зависит мало.

Хотя мой лучший друг университетских времен, нынешний профессор Юра Идрисов, демонстрирует обратное и меня могут обвинить в противоречии самому себе. Но противоречие – двигатель эволюции.

Негодяй Ленин насытил философию кровью, однако Гегель изрек истину: без диалектики нет развития.

Ведь ни от кого не секрет, что как минимум семь десятых от общего количества всех студентов Оксфорда живет в содомийском грехе обоих знаков. Но по выходе во взрослую жизнь их временный гомосексуализм ничему не мешает.

В преддверии заката дней я полностью понял то, что всегда ощущал подсознательно: главной ценностью бытия является секс.

Он не просто стоит на вершине жизненных приоритетов, он парит в воздухе над этой вершиной.

Если в жизни есть чувственное удовлетворение, то в ней есть все. А если нет, то в ней нет смысла, будь ты хоть римским папой и трижды нобелевским лауреатом.

Сексом, повторю еще раз, надо заниматься с того возраста, когда потребность в нем наиболее сильна – с тех самых четырнадцати, если не с тринадцати лет.

И продолжать так и в такой форме, в какой и пока хочется.

Что естественно, то позитивно, но черные века христианства зомбировали людей химерами.

У нас до сих пор считается вредным преждевременное вхождение во взрослый мир, медики не устают твердить, что *«ранняя половая жизнь деформирует личность»*.

Но на самом деле деформирует девственность, дрящущая до двадцати пяти лет – именно такую проповедовала моя дура мать.

Да, когда я стал студентом и знал об этой стороне жизни больше, чем она в свои сорок с чем-то, мать вдруг хватилась, принялась внушать мне химерические понятия насчет жизненных приоритетов. Одним из них являлось добрачное целомудрие обеих сторон при условии, что в брак нужно вступать лишь по достижении определенного жизненного уровня.

С последним, конечно, я согласен.

Но что касается добрачной девственности, то это полная чушь.

С одной стороны, не испытав хотя бы кое-что заранее, нельзя рассчитывать на счастливый брак с первой попытки. Лишь такие бесчувственные поленья, как мои родители, могли сойтись единожды на всю жизнь потому, что слепо верили в то самое *«отсутствие секса в СССР»*.

А с другой – и это еще важнее – пик сексуальной радости приходится на тот период жизни, который не стыкуется с *«совершеннолетием»*, позже секс делается неотъемлемым атрибутом, но сверкающих открытий уже не принесет, так определила природа.

Затянувшаяся девственность приводит либо к шизоидности Канта, либо к попытке компенсировать потери неприемлемыми средствами.

Однако в нашем обществе до сих пор связь до брака считается порочной.

Но понятие *«порока»* никак не коррелировано ни с девственностью, ни с добрачными связями.

Равно как и монобрачие является весьма сомнительной категорией и вряд ли может являться обязательным.

Впрочем, о том я сужу по своему опыту, и вообще отклонился от темы, заговорив о своем бывшем однокласснике.

Но все-таки первую Костину женщину мне тоже хочется осудить. Преступность ее состояла в том, что она ввела Костю во взрослый мир, насытилась его телом и насытила своим, а потом бросила обратно в тинное болото отрочества. Костина смена закончилась и он уехал. А его учительница-совратительница осталась в лагере, наверняка в следующей смене нашла себе следующего молодого партнера. Вернувшись в город, она продолжила чувственную жизнь с мужем или любовником – или с обоими по очереди. Ее существование продолжалось на привычном уровне; она имела все, что имела, ничего не теряя.

А мой друг, едва обрета, потерял все.

Если бы лагерные отношения продолжились в городе, если бы эта женщина жила по соседству, была бы подругой его матери или родной теткой...

Да, хоть кровной теткой, пусть записные моралисты распнут меня на кресте целомудрия!

Если бы какая-то женщина продолжала одаривать Костю своим телом, все в его жизни шло бы иначе.

Я стою на том, что лишь полноценная сексуальная связь с женщиной, годящейся в матери, может вывести мальчишку на правильный путь познания дальнейшего. Или определить приоритеты, позволяющие достичь адекватности бытия.

Впрочем, эта мысль не оригинальна и далеко не нова.

Как-то раз, еще в аспирантские времена, уже не помню по каким каналам, мне в руки попал античный роман «*Дафнис и Хлоя*». История любви двух древних греков, мальчишки и девчонки, живущих на острове Лесбос – название которого в те времена не имело нынешнего нехорошего оттенка – мне очень понравилась. И она не стала хуже от того, что, любя Хлою до потери сознания, первой из всех женщин кудрявый Дафнис все-таки познал какую-то соседку материнского возраста. И это оказалось лучшим способом, каким можно войти во взрослый мир.

Правда, с Костей все вышло хуже; у него Хлои не было, была только пионервожатая.

Происшедшее в пионерском лагере вызвало необратимые перемены в его самосознании. Тигренка можно с рождения кормить пресной кашей и он не умрет, даже вырастет до определенного предела – но если один раз дать попробовать мясо с кровью, он предпочтет сдохнуть с голода, но кашу есть не станет.

Точно так же мальчишка может взойти на Джомолунгму самонаслаждения, но стоит ему лишь один раз выйти в космос реального секса, как на Земле он уже не сможет адекватно жить.

Это я могу сказать совершенно точно, опираясь на собственный опыт, до воспоминаний о котором осталось всего чуть-чуть.

Я прекрасно понимаю Костю, который после лагеря буквально сходил с ума от неудовлетворенности в жизни, которая осталась прежней при том, что сам он изменился.

Думая об этом, я понимаю, что советская коммунистическая система отвергла и стерла все прежнее, как бы не соответствующее новым принципам, не заменив его новым.

Прежде всего это касается главного аспекта жизни.

До революции умные матери из порядочных семей нанимали своим сыновьям взрослых женщин для секса. И любой гимназист мог посетить приличный бордель.

Публичных домов не существовало ни в СССР ни в России, проституция была неразвита; да и найти хорошую гетеру во времена нашего с Костей отрочества представляло почти неразрешимую проблему.

Меня, конечно, могут заклеймить, но сейчас я твердо уверен: если бы мой друг нашел женщину для телесной любви, его жизнь пошла бы куда счастливее.

Говоря о Косте в публичном доме, я отнюдь не претендую на универсальную истину в последней инстанции.

У всех подростков разные уровни либидо. Кому-то во что бы то ни стало требуется насыщение своего тела, а кто-то прекрасно обходится и без него.

Институт старых девственников столь же реален, как институт старых дев, все зависит от темперамента.

Лучший пример тому дают мои сыновья, близнецы Петр и Павел, полностью идентичные между собой.

Они настолько одинаковы, что мы с женой привыкли видеть в них только сходство, уже забыто, который из братьев старше на несколько минут, а красных шерстинок – как Исаву и Иакову – им не навязали.

Но в то же время я не знаю двух молодых людей, более различных во всем.

Начиная с того, что они пренебрегли преимущественным правом близнецов и выучились в разных институтах – Петр в авиационном, а Павел в медицинском – кончая сферой чувственности.

Павел явился своего рода аналогом меня; он жил удовольствиями тела и женился раньше, чем следовало. И даже специализировался по гинекологии, что тоже о многом говорит.

А Петру девушки не нужны. Не потому, что ему нужны мальчишки – ему не нужен никто вообще; он, кажется, до сих пор девственен, как Иммануил Кант. Петьке не нужно ничего, кроме компьютера, около которого он проводит сутки напролет: днем на работе, дома по ночам – распывая свое либидо на понятные лишь ему строчки программных команд.

Все люди разные.

Но Костя родился таким, что ему жизненно необходимо было женское тело.

В познании мира он меня опередил, наши отношения уже не могли продолжаться на прежнем уровне.

## 9

А дальше получилось так, что наша дружба прекратилась из-за внешних обстоятельств.

Тратить бесценное время жизни на учебу с массой никому не нужных предметов – историй без истории и географий за «железным занавесом» – в нашей микрорайонной школе Костя не хотел. О какой-то хорошей, специализированной, в его случае речи не шло и он решил поступать в училище искусств – пристанище истинных художников.

Там существовал какой-то подготовительный то ли класс, то ли курс, и Костя перешел в училище, не дожидаясь конца первой четверти восьмого класса.

После этого мы виделись с ним всего раза три, и то случайно.

Правда, в богемном окружении Костя как-то оттаял и снова слегка расцвел, нашим встречам был почти рад.

Но все равно я чувствовал, что – говоря языком физики, который тогда на какой-то момент казался мне интересным – сам еще лечу на первой космической скорости, остаюсь на земной орбите при прежних интересах. А Костя уже развил вторую и устремился от Земли к другой планете: то ли к Марсу, то ли к Сатурну. А, возможно, даже разогнался до третьей и был готов навсегда покинуть пределы Солнечной системы.

Костя сделался старше, рассудительнее и злее.

Мы вели прежние разговоры о женщинах: иных общих тем у нас не существовало, поскольку я был чужд искусствам, а Костя ни черта не понимал в математике.

Но и о женщинах Костя говорил без прежнего приподнятого восторга.

Как понимаю я теперь, он непрерывно прокручивал в памяти ночи, проведенные со своей любовницей. Причем вспоминал не ощущения, а знания, которые получил не там, не так и, возможно, все-таки не вовремя.

Во мне остался один из последних разговоров, состоявшийся в сквере на перекрестке улиц Ленина и Коммунистической – бывшей Сталина – за два квартала от кинотеатра «Родина», где полгода назад мы наслаждались мороженщицей без трусиков и строили чувственные планы.

Было холодно, деревья почти сбросили листву, темно зеленели только пихты, посаженные по углам.

Мы сидели на белой скамейке; мимо нас – и рядом по гравийным дорожкам и по улице за гранитным парапетом – шагали прохожие.

На соседнюю скамейку села женщина лет тридцати.

По погоде на ней было длинное демисезонное пальто; когда она закинула ногу на ногу, показались ноги, сияющих над краями модных по тому времени «сапог-цулок». Женщина раскрыла сумочку, достала голубую с белым пачку «Ту-134», вытряхнула сигарету, щелкнула зажигалкой. До нас донесся легкий запах бензина: газовых в те времена не существовало.

Она курила, глядя перед собой, словно рассматривала вход в лекторий Всесоюзного общества «Знание», который располагался на другой стороне улицы. У нее был хищный и в то же время растерянный профиль.

– Враки все. Бесстыдные враки и ложь, – сказал Костя, посмотрев на женщину и тут же отвернувшись.

– Что – ложь? – я не понял, переспросил.

– Всё. Все эти Петрарки с Лаурами и прочая хрень. И встретил вас, и чудное мгновенье, и стан шелками схваченный и тургеневская кисея над письмами Татьяны.

– Она мне не писала писем, – возразил я.

Глядя на золотистое женское колено, я невольно думал о своей соседке, которую, кажется, воцелел всерьез.

По крайней мере, после Костиных рассказов.

– Да не Авдеенко, а Ларина, – пояснил Костя, поняв ход моих мыслей. – Это такая упертая дура из «*Евгения Онегина*», по программе еще не было, я просто сам читал...

Курильщица на соседней скамейке переложила ноги по-другому.

Такие движения были одинаковыми у всех женщин, но ноги этой были, пожалуй, красивее, чем у Авдеенко. Хотя если бы Таню обути в такие же изящные «чулки», она тоже показалась бы лучше.

Поймав щекой мой взгляд, женщина повернулась в нашу сторону.

Но посмотрела не на меня; длинным, долгим взглядом она смерила Костю. Я вообще отметил, что после лета женщины всех возрастов: от младшеклассниц до Нинели – стали смотреть на моего друга как-то иначе. И по-другому, чем на меня, не такого худого и сложенного лучше.

Видимо, полтора десятка ночей в душном лагерном домике наложили на него печать, распознаваемую представительницами противоположного пола.

– ... Чушь и ерунда. И страшная ложь, которой нас кормят не пойму зачем. Нет этого ничего на самом деле. Нет.

Костя отчаянно потряс головой.

– Женщина – не богиня, сошедшая с небес, какой ее пытается представить возлюбленное искусство. Поклоняться женщине так же глупо, как молиться вон тому столбу, обгаженному собаками.

Он взмахнул рукой.

Собака – классическая бродячая дворняга, каких в те времена было пруд пруди – истово мочилась на серебристый фонарный столб, стоя боком и задрал лапу.

Я молчал.

– Женщина – это всего-навсего ходячая...

Махнув рукой еще раз, Костя употребил слово из числа тех, какие были в ходу среди дружков Дербака.

Я не ответил. Меня ошеломило даже не само определение, а та оголтелость, с какой сделал признание мой мягкий, романтический, художественный друг.

– Да. Просто...

Будущий художник выматерился еще раз.

– В которую надо...

Следующая Костина фраза состояла из таких слов, что я понял меньше половины.

– Вот и вся романтика полов. Все это мировое искусство, все эти романы и сонеты и картины про любовь с миллионами алых роз – все можно было изобразить...

Чем именно можно было изобразить любовь, Костя договорить не успел.

Впрочем, здесь меня повело из одной плоскости другую.

Слов про «*миллион алых роз*» Костя не произносил; в те времена эту олигофреническую песню еще не написали, да и сама Алла Пугачева еще не переползла во второй десяток из той сотни постелей, по которым перемещалась всю жизнь.

Здесь я просто выразил свое отношение к понятию мишурной любви – особенно выражаемой со сцены старой шлюхой, на которой негде ставить пробу.

– ...В виде распахнутого влагалища в обрамлении бестелесных ангелов с серебряными трубами, на которые натянуты индийские презервативы «*Кохинор*».

Женщина с соседней скамейки встала и пошла к выходу из сквера. Не к ближайшему, справа от нее, открывающемуся на углу, а к дальнему, мимо нас.

Поравнявшись с нами, она остановилась, чтобы поправить сапог, который сидел идеально на тугой ровной икре.

– Ладно, Лешка, мне пора, – сказал Костя и встал, на ходу пожимая мне руку. – До встречи в лучшей жизни.

Женщина удалялась по красной дорожке налево, он отчаянно пошел направо, к другому выходу.

Больше мы с Костей не встречались и я о нем ничего не слышал.

Но как сейчас помню свое совершенно взрослое ощущение: вот от меня уходит друг и единомышленник, и я опять остаюсь один на один с проблемой, которая воспитанием XX века была превращена в неразрешимую.

\* \* \*

*Меня кто-то толкнул.*

*Я поднял голову, с трудом выталкивая себя из воспоминаний.*

*Передо мной стоял Пашка.*

*– Пап, мама просила, чтобы ты с кухни принес заливную рыбу, ей некогда.*

*– Рыбу... – тупо повторил я. – Ах да... Рыбу, конечно. Сейчас принесу, сейчас.*

*Я тяжело – не как сорокадевятилетний полный сил мужчина, а как старший друг тестя Павла Петровича – поднялся, скрипнул стулом.*

*Прошел на кухню.*

*Принял из рук какой-то девицы в черной косынке огромное блюдо рыбы, показавшееся неощутимым в неожиданно онемевших руках, отнес в комнату и с помощью Нэльки поставил на середину поминального стола.*

*Ноги держали плохо, хотелось скорее сесть.*

*Гостей набралась толпа: Ирина Сергеевна всю жизнь проработала в одной школе, проводить и помянуть ее пришли учителя разных поколений и, кажется, бывшие ученики. Для невеселого торжества выбрали гостиную – самую большую комнату в квартире.*

*Тут был сооружен огромный стол не пойми из чего – я знал, что деду Павлу помогли Петька с Пашкой.*

*Впрочем, моя голова работала плохо; это стол – огромный и никогда не использовавшийся – испокон веку стоял в другой комнате, именовавшейся столовой. Просто сегодня его еще чем-то надставили, из сцены превратили в футбольное поле.*

*Мое законное место тут было царским.*

*Формально я являлся третьим близким человеком Ирины Сергеевны, по рангу после мужа и дочери. Хотя фактически был, пожалуй, первым. По крайней мере, в последние ее годы.*

*Но сил протискиваться между стеной и чьими-то спинами не осталось. Я сел на ближний угол, как бедный родственник.*

*И снова обернулся к тещиной фотографии.*

*Я смотрел и смотрел на ее до смерти знакомое лицо.*

*Нэлька унаследовала внешность отца – крупный нос, выразительные черты, которые позволяли ей оставаться не по возрасту яркой.*

*А теща всю жизнь имела трепетный, почти полустертый облик. В лице ее, приятном и уравновешенном, не имелось ни одного штриха, могущего привлечь внимание.*

*Лицо Ирины Сергеевны всегда оставалось приветливым и замкнутым. Наверное, то был профессиональный отпечаток.*

*Но глаза...*

*Глаза Ирины Сергеевны – не очень большие, но очень выразительные – всегда смотрели печально. Впрочем, возможно, это казалось сейчас только мне.*

*Портрет увеличили из рук вон плохо; на нем остались точки и царапины, которые фотограф поленился устранить, имея современные способы обработки.*

*Но глаза Ирины Сергеевны казались живыми.*

*И были грустными. Очень грустными.*

*Я смотрел на них и ощущал, как от портрета что-то передается мне.*

*И на моих собственных глазах наворачиваются слезы.*

*– Это уже черт знает что, – сказал я сам себе.*

*Какая-то соседка по столу обернулась ко мне, я не стал на нее смотреть.*

*Я просто подумал о том, что мое поведение абсурдно.*

*Ведь умерла не владелица южноафриканских алмазных трубок, в последний момент лишив наследства.*

*Ушла обычная женщина, простая школьная учительница.*

*И благополучный во всех отношениях зять, который плачет на поминках тещи, мог показаться даже неприличным.*

*Во всяком случае, это выходило за рамки.*

*В Отделе физики и математики у меня имелся довольно близкий приятель Саид Урманов. Сейчас он – доктор физико-математических наук, член-корреспондент РАН, директор Института механики, который в свое время отпочковался от Института физики.*

*Так же, как и я, Саид был женат с юных лет и любил повторять свою заветную мечту: чтобы самолет, на котором летит теща, упал на поезд, в котором едет тесть.*

*Или наоборот; суть от этого не менялась, и такое отношение к родителям жены являлось типичным.*

*А вот мне Ирина Сергеевна и Павел Петрович были ближе и дороже собственных родителей, и я не мог представить себе иного.*

*– ...Алексей Николаевич, вам плохо?*

*Оксана была очень бледной в черной рубашке мужского покроя.*

*– Нормально, Ксения, – я через силу улыбнулся. – Дай мне, пожалуйста, водки, если тебе нетрудно.*

*Невестка скользнула вдоль стола, вернулась, поставила передо мной едва початую бутылку и рюмку с моего места.*

*– Ксения, если можешь, принеси мне, пожалуйста, стакан, – тихо попросил я. – И так, чтобы Нэля Павловна не заметила, хорошо?*

*Жена в последнее время стала сильно следить за моим давлением и контролировать каждый миллилитр употребленного алкоголя.*

*Понимающе кивнув, Оксана исчезла в двери, через минуту появилась опять, наклонилась и бесшумно выпустила из рукава длинный узкий стакан турецкого производства.*

*Я в очередной раз подумал, что Пашика оказался прав, выбрав ее в жены.*

*И правы были мы с Нэлькой, подарив невестке на свадьбу кольцо с огромным изумрудом, шедшим к ее светлым волосам и зеленым глазам. Подарок она носила постоянно, не сняла и сейчас, только повернула камнем к ладони.*

*И еще более прав я сам в своих намерениях относительно нее. Смерть тещи подкосила меня, выбила из колеи, смешала все планы. Мне следовало как можно быстрее прийти в себя и сделать все, что уже решил.*

*Налив до краев, я выпил залпом, не закусывая, оставил пустой стакан на столе и вернулся на свой стул.*

*К Нэльке, рядом с которой было мое место.*

*Обычное место обычного зятя на обычных поминках обычной тещи.*

*Пока я предавался размышлениям, жена умылась холодной водой и поправила макияж. И выглядела относительно сносно.*

## Часть пятая

### 1

Занятия в школе закончились.

Я с блеском завершил восьмой класс, подал документы и уже знал, что меня приняли на последние два класса в математическую школу №114.

Не просто лучшую в городе, а известную по стране; мой преподаватель из ВЗМШ при Московском университете справлялся, не перепутал ли я данные, указав в качестве места обучения ничего не стоящую 9-ю. А 114-ю он знал, хотя сам – какой-то студент то ли второго, то ли третьего курса мехмата МГУ – происходил из другой области.

Обещанное спецматшколой компенсировало даже то, что учеба там отнимала у меня ежедневно лишних полтора часа на дорогу. Ведь моя старая, как могила Тамерлана, 9-я находилась в центре, она лежала в трех кварталах от дома. А 114-я расположилась в новом здании на проспекте Октября, туда приходилось ездить на трамвае. Но остановки имелись в малых окрестностях начальной и конечной точек пути, я всегда мог сесть и спокойно читать «Квант».

Можно было считать, что первая часть моего среднего образования закончилась триумфом, теперь ждала пара ступеней вверх по пьедесталу и очередной триумф, каким я мыслил поступление в Московский университет.

Его я тоже видел у себя в кармане – и, вероятно, был прав.

Но я как-то сильно перескочил вперед по временной шкале воспоминаний.

Кое-что важное успело случиться на старом месте еще до перехода на новый уровень, я ненадолго возвращаюсь в восьмой класс.

То есть в последний год, проведенный в школе №9.

По существу, он был полностью отдан математике.

Эти подробности вспоминать не вижу смысла; сами по себе они не имеют отношения к мыслям, всколыхнувшимся на поминках тещи – заставившим плакать, вызвавшим желание влить литр водки и разбить себе голову об стену.

Скажу кратко.

Помимо ВЗМШ, где учеба заключалась в периодическом решении контрольных работ, присылаемых по почте из Москвы, я записался еще в ЮМШ – «*Юношескую математическую школу*» – при местном университете, еще не предполагая, какую роль он сыграет в моей жизни.

Туда я ходил раз в неделю, вечером по средам – решать задачи у доски, общаться с такими же увлеченными ребятами, с многими из которых предстояло оказаться в одном классе школы №114.

Помимо вечерних занятий, которые вели студенты-второкурсники математического факультета, ЮМШ дала мне право посещать университетскую библиотеку и даже брать домой некоторые вещи, не пользуясь спросом.

Я выбирал сложные, мало кому нужные книги по высшей геометрии. Например, крупноформатную монографию Савелова о плоских кривых, которую читал, как иные в моем возрасте поглощали дребедень вроде «*Трех мушкетеров*» или «*15-летнего капитана*». В какой-то другой книге я вычитал термин «*инфинитиземальные координаты*»; он мне понравился, я даже пытался выяснить у нашей Нины Ивановны, что это такое, но она с трудом могла объяснить даже простые декартовы.

Сейчас я уже не помню ничего ни о смысле этих слов, ни о финслеровой геометрии, ни о гомеоморфизмах тора – забыл даже, что такое интеграл Лебега. Геометрия осталась за бор-

том, я специализировался по теории вероятностей, и это оказалось благом, поскольку статистические методы широко используются в современных областях.

Сфера моих научных интересов позволила возглавить сектор в академическом Институте математики, дала возможность работать на полставки профессора в университете, общаться с заинтересованными студентами, иметь аспирантов.

Я также без труда подвизался в УГАЭС, где хорошо зарабатывал левым образом на диссертациях, о чем уже упоминал.

Там я исправно пользовался феноменом человеческого тщеславия: дурам с лицами прачек, только что вылезших из бариновой постели, не хватало отцовских «*Мерседесов SLK*», им требовались диссертации. За наукообразные обоснования своих потуг – без которых экономическую ахинею не принимал к защите ни один ученый совет – они платили мне по пятьдесят, а то и по семьдесят тысяч рублей.

О таких деталях я вспомнил потому, что они явились результатом моих математических усилий в восьмом классе.

Правда, сама судьба сложилась не совсем так, как намечалось, но этим воспоминаниям еще не пришло время.

Я просто хотел сказать, что восьмой класс оказался для меня своего рода переломным.

Слегка повзрослев, я стал перестраивать жизнь.

## 2

Я понимаю, что поворот воспоминаний может показаться странным; признаться честно, он слегка удивил даже меня самого.

Ведь если быть последовательным во временном отношении, то можно увидеть парадокс мировосприятия.

В очередной момент настоящего я вынырнул из сквера имени Ленина, где в последний раз сидел со своим недолгим другом Костей и, рассматривая незнакомую женщину в эротичных «сапогах-чулках», думал о своей однокласснице и соседке по парте, чьи ноги были лишь чуточку хуже. А расплакавшись на поминках и слегка оглушив себя водкой, я нырнул обратно и оказался уже не там.

Конечно, сквер не являлся координатным центром моих мемуаров, да и Костя ушел из моей жизни. Но одноклассница Таня Авдеенко никуда не делась. Мы только что вместе сдали первые в жизни экзамены и я по старой дружбе подсказал ей на математике.

Но слово «старой» определяет все.

Таня тоже ушла из моей жизни, хотя оставалась рядом до последнего момента в школе №9.

И это тоже казалось естественным.

Мой друг Костя в своем либидо жил по тангенсу. Поднимаясь с нарастающей скоростью вверх, он дошел до точки разрыва и упал в минус бесконечность, таким я наблюдал его в начале восьмого класса. Но в день последней встречи мне показалось, что он опять начал подъем. Этому этапу, скорее всего, предстояло ознаменоваться таким же быстрым стремлением к вертикальной асимптоте и еще одним провалом. А потом новым взлетом и новым падением, и вся его жизнь, должно быть, представляла семейство тангенсоид с бесконечными разрывами второго рода в равноотстоящих точках.

Таких людей я знал по взрослой жизни; они жили лихорадочно и ярко, но почти никогда не достигали ничего серьезного, поскольку нельзя нормально существовать на разрывной кривой.

Я жил почти по синусоиде – по крайней мере, так удавалось в целом. Мое либидо – точнее, зависимость от его реализации – шло вверх, переходило точку максимума и опускалось вниз, доходило до какого-то минимума, потом так же плавно начинало подниматься. Кривая была непрерывной, я не страдал так сильно, как Костя – хотя, возможно, и не испытывал пиковых страстей.

Впрочем, как всегда в любой реальной человеческой жизни, я выдавал желаемое за действительное – ну, по крайней мере, старался, и это порой получалось.

Так или иначе, но восьмой класс школы означил некий спуск по синусоиде, хотя тогда я о том не задумывался. Но сейчас, анализируя прошлое, я осознаю, что это было так.

Я находился в состоянии чувственного спада.

Статуэтка фигуристки пылилась на полке в компании таких же фарфоровых енота, Снегурочки и белого медведя. Пловчихи и гимнастки были сданы в макулатуру среди отчетов о пленумах ЦК КПСС; о девушках из аэробики я не вспоминал. Старый лифчик, которого когда-то лишилась владелица с потерей застежки, должно быть, сгнил под протекающей крышей на забытом чердаке.

Исчезла Валеркина мать, больше не манила к себе яблочной грудью.

А Таня Авдеенко, которая исправно посылала мне рисованную улыбку, не стесняясь своего голого вида...

Впрочем, с Тани и начался мой спад, о ней стоит сказать отдельно.

Первого сентября я, конечно, ошибся, ее грудь за лето не подросла ни на сантиметр. Она, как показала практика следующего века, вообще не росла дальше, исчерпав лимит в седьмом классе. Но Танины колготки остались золотистыми, и ноги манили не меньше, да и пахло от нее порой сильнее.

Набросившись на нее в первый день и получив незлобный отпор, дальнейших попыток я не предпринимал.

Я в целом как-то поутих.

То ли существенно исчерпал свои силы во время слишком интенсивных упражнений летом – в Крыму и дома, в процессе фотопечати над едва зафиксированными снимками. То ли меня удручало отдаление Кости, на духовную близость с которым я рассчитывал. То ли начало учебы в ВЗМШ потребовало и времени и сил больше, чем я ожидал.

Но, скорее всего, синусоида моего либидо пошла вниз сама по себе и я ей подчинился.

Так или иначе, мое вожделение к Тане не пропало, а сделалось каким-то спокойным.

Я стал относиться к ней еще лучше, чем в прошлом году.

На день рождения, который у нее был в сентябре, уже не помню какого числа, я расщедрился до такой степени, что подарил ей серию марок государства Шарджа с изображениями цветов. Таня к подарку отнеслась равнодушно; ей наверняка пришлось бы по душе обычные цветы, выброшенные дней через пять.

Но влечение к Тане не угасало еще некоторое время. Точку поставил школьный «вечер» – подобие дискотеки нынешних времен – приуроченный к всенародному празднику и знаменующий конец первой четверти.

Все медленные танцы я собирался провести с соседкой по парте, но после второго быстрого не увидел ее в лихорадочном полумраке спортзала, который использовался для мероприятий после того, как из актового сделали «амфитеатровый» кабинет физики. Решив во что бы то ни стало найти одноклассницу, я обежал всю школу. Точнее, не спеша, проходя туда и сюда, проверил три темных гулких этажа и нашел ее на четвертом. Даже не на самом этаже, а на лестничной площадке около тупика, выходящего на завод, который стоял в соседнем квартале.

Здесь на стене торчала вертикальная металлическая лестница на чердак, где многие годы вся школа курила даже во время уроков. Когда сама Нинель Ильинична стащила оттуда за волосы Дербак с гаванской сигарой, завхоз Рамазан Меркаширович навесил на люк амбарный замок. Но площадка все равно осталась одним из любимых мест уединения.

В октябрьском мраке сияли Танины ноги. Она стояла и серебристо смеялась, в то время как Дербак молча шарил у нее под платьем, расстегнутым на груди.

Я не удивился и – что удивительно – почти не расстроился.

Я знал свое место в иерархии девчоночьих интересов, оно было вторым или третьим с конца. В те годы ни ум, ни перспективы сверстницами не ценились, им требовалось сиюминутное, что можно потрогать прямо сейчас. И, кроме того, Костя во многом был прав: большинству женщин – по крайней мере, в убогой школе №9 – требовалось напористое обращение. А вовсе не дорогие, имевшиеся в единственном экземпляре на Главпочтамте, марки арабского эмирата.

Я лишь глупо подумал об ошибке: в своих грезах я когда-то расстегивал платье на Таниной спине, откуда можно нашарить лишь застёжку лифчика. Но тут же сообразил, что все правильно: тяжелая коричневая школьная форма имела застёжку сзади. А сейчас на моей пассии – которая – стала не моей – было надето платье человеческое, с застёжкой на нормальном месте, открывающей все нужное. Мне стало смешно и даже легко.

Кажется, я повзрослел еще на одну ступеньку.

Круто развернувшись, я сбежал на первый этаж, весь вечер танцевал то с Сафроновой, то с Гнедич, то еще с кем-то, ощущал чью-то грудь на моей груди, чьи-то ягоды под ладонями

и чьи-то ляжки в дециметровой доступности. Я получил определенную дозу удовольствия, которого впервые в вечерне-танцевальной практике не особо скрывал.

Так произошел мой переход на следующий уровень.

Стоит отметить, что после каникул мы встретились с Авдеенко нежно. В тот год я еще не знал, что, лишившись вождения, отношения между мужчиной и женщиной поднимаются на высоту истинной дружбы, но это было так.

Примерно то же самое, но по другим причинам и гораздо серьезнее, произошло со мной через четверть века. Но история моей страсти еще не дошла до нужной точки. Сейчас я вспоминаю восьмой класс.

Я достиг минимума синусоиды, но куда и когда она начнет подниматься, еще не знал.

Забегая очень сильно вперед, отмечу, что Таня ушла из моей жизни не навсегда. Точнее, появилась через двадцать восемь лет после того, как я ушел в 114-ю школу.

Она каким-то образом нашла мой телефон, позвонила и попросила встретиться по делу.

Я согласился; соседка по парте осталась единственным приятным воспоминанием о той школе – и она приехала ко мне в Институт, как оказалось удобнее обоим.

Стоял конец зимы, на Татьяне Борисовне – прежней Авдеенко, нынешней Шейх-Али – были толстые шерстяные колготки, да и вся она выглядела поблекшей, ей хотелось дать не сорок три года, а все пятьдесят.

Я узнал, что Таня доучилась на старом месте. Фамилия того, с кем она сидела в девятом и десятом классах, мне ничего не сказала; среднюю школу №9 я вычеркнул из памяти, годы 1966—1974 форматировал. Потом она поступила в Нефтяной институт, не поленилась пять лет ездить на другую оконечность города, хотя в близлежащем Авиационном училище точно так же. В нефтяном Таня вышла замуж за человека, который был существенно старше – откуда он взялся, я тоже не понял. Сейчас бывшая подруга работала начальницей отдела в тресте «Водоканал» и считала свою жизнь удавшейся.

Цель визита заключалась в том, что Танин сын-придурок – так отпрыска аттестовала она сама – после школы собрался поступать в университет, не имея ни хорошего аттестата, ни особых способностей. Она узнала, что я там прирабатываю, и обратилась за помощью.

В том, что ее сын именно придурок, сомнений не возникло: он выбрал философский факультет, а философов я считаю кончеными идиотами.

Первым являлся декан факультета профессор Аркадий Владимирович Демьянов. Он полысел еще ассистентом и ездил в Москву вживлять себе волосы, по доллару за пучок, чтобы не выглядеть старым перед студентками.

Просьбу Таня дополнила словами, что ее муж «присосался» к нефтегазовой отрасли региона и за ценой не постоит.

В последнем заявлении я не видел ничего особенного. Педагогическая практика убеждала, что из десяти абитуриентов один целенаправлен, а девять суть одинаково никчемные балбесы и «вступительные» испытания для них бессмысленны. Смысл имело лишь то, о чем говаривал старик Фамусов.

А дурак, за которого некому порадеть, должен оплачивать свою дурость.

Наш университет был коррумпирован в обычной для России степени.

Хотя качество этой «степени» оказывалось в разных местах разным.

В УГАЭСе существовала система взяток на всех ступенях: от поступления до диплома. Там даже имелся «помощник проректора по особым вопросам» – мутный дегрод, выгнанный из КГБ. В его задачу входили слежка за преподавателями и организация студенческих доносов; работа считалась невыполненной, если по итогам сессии хоть одного доцента не отправляли под суд. Я взяток не брал – мне хватало приработков на липовых диссертациях – но сотрудников «академии» понимал: их держали на голодном пайке, профессор имел ставку двадцать тысяч, а ректор назначил себе зарплату в миллион.

В университете все строилось иначе: денег никто никому не давал, расплачивались услугами. Если математик принимал экзамен на экономическом факультете, то декан инъяза, чей племянник поступал в этот год, мог обратиться к нему, а взамен поговорить с председателем предметной комиссии географического факультета, куда собралась двоюродная сестра лаборантки с химфака, сожитель которой владел автосервисом, где математик обслуживал свой джип по льготным расценкам.

Я «законником» – то есть полноправным членом сообщества – не был, совместителей к приемной кампании не допускали. Но это не играло роли.

В университете у меня имелась масса знакомых, приятелей и даже друзей; по большому счету, только там они и имелись. У себя в Институте математики я как небольшой начальник ни с кем не дружил, а профессора в любом ВУЗе разве что не валялись под ногами и все были равны между собой.

На математическом факультете университета работал мой лучший друг, штатный профессор Юрий Шаукатович Идрисов. Но из всех сущностей Юру привлекал только женский пол, с малолетними абитуриентками он связываться опасался, а их перезрелые мамы его не интересовали, поэтому в процессе взаимообмена вступительными услугами он не участвовал и мне помочь не мог.

Не размениваясь по мелочам, я ударил из орудий главного калибра: пошел к ректору, который решал все.

Таню Авдеенко я любил как хорошее воспоминание, да и операция стоила немного.

Ректор – физик по специальности и запойный алкоголик – был мне знаком с тех времен, когда я, старший преподаватель, читал курс высшей алгебры и многомерной геометрии на их факультете. В кругу равных я отличался коммуникабельностью, везде оказывался своим. Будущий хозяин университета тогда имел звание доцента, но это не мешало. Мы нередко выпивали в деканате и на кафедре; правда, пил я в те годы еще не как профессионал, а по-любительски.

Сейчас, доктор физико-математических наук и профессор, ректор беспробудно пьянствовал в своем огромном кабинете с видом на Телецентр. Все подобострастно величали его «Мухаммедом Хафизовичем», но для меня он по-прежнему был «Мухамат» и я обращался к нему на «ты».

Взяв две литровых бутылки водки «Белуга» – экспортного разлива, с выпуклой рыбой над этикеткой – я оставил машину на парковке, вызвал такси и поехал в университет.

Секретарша пустила к ректору беспрепятственно. Я был точно таким же доктором и профессором, все знали о наших приятельских отношениях. Кроме того, посиневший от пьянства Мухамат серьезными делами не занимался, только молча подписывал бумаги; все университетские проблемы за него решал проректор – тоже физик, Николай Данилович Зимин, для меня просто Коля.

Когда первая бутылка – из которой я употребил всего стакан – опустела, Мухамат вызвал лысого Демьянова, по статусу являющегося председателем своей приемной комиссии; его я знал лишь шапочно. Правда, вторую белугу ректор припрятал, а на стол выставил «четверть» какой-гадости-то ли «Зеленой марки», то ли «Путинки» – из своих запасов. От нее едва убыло, когда бумажка с фамилией-именем-отчеством и годом рождения моего протеже перекечевала в Аркашин философский карман и вопрос оказался загодя решенным.

Договоренность сработала без сбоев, летом Шейх-Али-младший поступил по зеленому коридору.

Предложения насчет оплаты я отверг, признался честно, что мне все обошлось в два литра водки. Таня пыталась отдать деньги за «Белугу» – я сказал, что это мелочь в сравнении с памятью нашей дружбы, и о пустяках не стоит говорить.

Будучи человеком неглупым, я понимал, что одноклассница испытывает дискомфорт от видимой неблагодарности. И не возражал, когда она позвала меня и жену на мини-банкет по поводу счастливых перемен.

Согласно статусу и кошельку, Таня выбрала самый модный, самый дорогой и самый отвратительный в городе армянский ресторан.

Нэльке хепенинг пришелся по душе. Она надела белое платье с глубоким декольте, откуда сверкала подвеска с бриллиантами за девяносто восемь тысяч, которую я подарил ей на сорок лет. Без бюстгальтера, но с белым боа из пуха марабу, выглядевшем на полмиллиона, моя жена пользовалась головокружительным успехом у молодых парней с соседнего столика. Я был горд и обожал ее сильнее обычного. Нэлька танцевала до упада, в такси на обратном пути скинула туфли, дома попросила тазик с прохладной водой для усталых ног.

Муж бывшей одноклассницы, статный крымский татарин, мне понравился.

Были еще какие-то малозначительные гости, подруги и товарищи; виновник торжества отсутствовал, я вообще не видел его ни разу.

Танины коленки нежно сияли в эластике и обещали нечто, чего не могло быть.

Ближе к ночи я простил армянам и дурацкие банты на стульях и невкусную еду и дрянную водку и даже древесно-спиртуозный коньяк «*Ной*». Они нагородили в здании лабиринт коридоров и переходов, весьма полезных для определенных нужд. Приняв необходимую дозу, мы с одноклассницей решили пообщаться без посторонних глаз. Уйдя в укромные глубины, где по ушам не била музыка, мы не только поговорили, но даже поцеловались и...

И я убедился, что в субботний вечер 27 октября 1973 года будущий уголовник Дербак вряд ли нашупал что-то существенное.

С Таней Авдеенко мы больше не встречались и на контакт не выходили, ее философ сын как-то выучился без моей помощи.

Вспомнил я ее сейчас уже сам не знаю почему, мне пора вернуться в сладостное безвременье между двумя школами.

В те дни, когда я находился у очередного порога.

### 3

Я подхожу к главной критической точке своей жизни. Все уже описанное лишь предвещает и в некоторой мере обосновывает события. А после случившегося все, что продолжалось со мной, уже вполне обусловлено.

Повторю, что стояло лето 1974 года. Шло самое начало июля или заканчивался июнь – на самом деле эти мелочи неважны. Важно лишь то, что я прошел экзамены, получил свидетельство об окончании восьми классов и готовился к очередному этапу жизни, которая еще не сулила слишком сильных перемен.

И самое главное – я был свободен от всего.

Сейчас те времена видятся мне под иным углом зрения.

Семьдесят четвертый год в СССР означал некое затишье перед броском в бездонную пропасть последнего, десятилетнего периода коммунистической агонии, который казался естественным продолжением жизни, где мы буровили космос, но подтирались газетами.

Впереди черным светом сиял год семьдесят пятый.

Вовсю готовилось празднество в честь 30-летия победы, которая по совокупности итогов – материальных и человеческих – уже тогда кое-кому из умных людей виделась поражением.

Генеральный секретарь Политбюро ЦК КПСС Леонид Ильич Брежнев позиционировался не как простой участник событий, а результирующий фактор той «победы».

Брежнев стал символом времени. Маршалом Советского Союза, не помню сколько-кратным на тот момент Героем, автором книги века – жалкой брошюры «*Малая Земля*», которую написал за него уважаемый писатель, а сам генсек и не заглядывал в рукопись

Сама история страны больше, чем когда бы то ни было, напиталась враньем и подтасовкой, замалчиванием одних фактов и головокружительным возвышением других.

Например, славословились – как славословится до сих пор – имя маршала Жукова, который положил десять дивизий, сто тысяч молодых солдат, без стратегической нужды – лишь для того, чтобы сделать подарок Сталину в виде Берлина, взятого ровно к 1 мая.

Людей в этой стране всегда считали даже не на сотни тысяч, а на миллионы – безотносительно того, именовалась ли она Российской Империей, Союзом Советских «*Социалистических*» Республик, или просто Россией.

Но в те годы военная вакханалия приближалась к своему неаналитическому максимуму.

Бесконечная кровь, выстрелы, взрывы и снова кровь занимали экраны кино и телевизора, в реальности шли бесконечные встречи ветеранов, на которых разрешалось говорить лишь входящее в предустановленные рамки.

Советский народ существовал под лозунгом «*Лишь бы не было войны!*» – то есть в статусе заключенного, которому смертную казнь заменили пожизненным сроком.

Коммунизм, лживый по своей сути, входил в эпоху лжи, возведенной в абсолют и имеющий не минус 273, а все – 500 градусов Цельсия.

Позже этот период был назван «*застоем*», а его нравственная атмосфера – «*победобесием*».

Нынешним исследователям те времена кажутся в той же степени несовместимыми с человеческой жизнью, как нам – естественными.

Но, конечно, нет ни черной, ни белой исторических правд, есть лишь точки зрения отдельных людей, каждый из которых жил по-своему и видел все тоже по-своему.

В те времена бесились победоносцы, километры ткани шли на лозунги и флаги – как миллионы тонн стали спускали на танки, которыми СССР загромоздил сопредельные государ-

ства – и весь могучий советский народ жил от пленума до пленума, от постановления до постановления, от одной брежневской звезды до другой.

И в то же самое время люди продолжали существовать.

Работали и пьянствовали, ловчили и воровали, влюблялись, сходились и расходились – делали аборт и лечили венерические болезни, поскольку противозачаточных таблеток не было, а в презервативах советского производства что-то ощущать мог лишь наркоман, наглотававшийся «*Экстази*». А вылечившись, опять бросались в объятия порока, заклеяменного в «*Моральном кодексе строителя коммунизма*». То есть – жили.

Жил и я.

В описываемые дни я ни о чем лишнем не задумывался.

Лето радовало погодой.

Старые проблемы ушли, новые еще не родились.

Меня, как обычно, ждал Крым – то же море, тот же пляж, те же грецкие орехи и те же ежи под теми же самыми домиками на косогоре. Но родители еще не вышли в отпуск, я был полностью предоставлен самому себе.

Моя семья являлась антиобразцовой с точки зрения знаний жизни, данных родителями. Но даже в ней существовал один положительный момент: и мать и отец были городскими людьми, чуждыми любым сельским проявлениям.

У нас не имелось ни дачи, ни сада, ни дальних родственников в деревне. И если сверстников родители с ранней весны принуждали ездить на грядки и заниматься ненужными делами: подбирать стекла, откуда-то насыпавшиеся за зиму, копать землю и таскать воду, обрезать «*усы*» у клубники, окучивать картошку и собирать с нее колорадских жуков – то меня эта участь миновала. Между школой и базой отдыха я мог делать все, что угодно, меня никто ни к чему не принуждал.

Лето-74 не выходило из привычного разряда и, пожалуй, было даже лучше, чем прежние.

Я находился на той части синусоиды, где производная имеет знак «*плюс*». Пережив осенне-зимний, усиленный внутренним взрослением, спад, мое либидо опять устремилось вверх. И тому имелись причины.

На данный момент для счастья у меня имелось все.

Включая пустую до вечера двухкомнатную квартиру.

Это делало бытие еще более обещающим: в восьмом классе у меня появилась подруга.

Таня Авдеенко сидела рядом, коленки ее сияли столь же сладостно, от нее по-прежнему пахло влажным капроном, а порой чем-то, еще более волнующим. Но она прочно перешла в разряд друзей. Поднялась на новый уровень отношений, я перестал ее желать.

А подруга была девушкой того рода, которую стоило прежде всего вожделеть, уже потом рассуждать о высоком.

Ею оказалась не одноклассница.

Одноклассницы, конечно, не ушли из сектора абстрактных вожделений.

Там остались Сафронова, Альтман, Гнедич, Бубенцова, Харитоновна. И зеленоглазая Файзуллина. Кроме того, появилась Башмакова, пришедшая из класса «*Б*»: ее круглые коленки, пожалуй, могли дать фору Таниным. Глаза Потаповой никуда не делись, ума в ней не прибавилось, а грудь выросла, смотреть на нее было приятно. Каждая из этих девчонок радовала глаз телом.

Меня отстраненно влекли не только признанные звезды; я согласился бы на внимание со стороны Зайнетдиновой, от которой всегда пахло потом, поскольку дезодорантов в те времена не существовало, а из слонихи можно было сделать двух Капитановых, а Минеевых – даже трех.

Честно говоря, и Линару Минееву – отставшую в физическом развитии настолько, что на физкультуре ей хватило бы одних трусиков – я бы тоже не отверг.

Но в своем классе, даже на своей параллели у меня шансов не было.

Ведь люди меняются, а сложившееся мнение остается на первоначальном уровне.

В первых классах я был тихим, скромным, молчаливым и невысоким. По совокупности факторов уже не помню кто обозвал меня «*Лешей-галошей*», кличка приклеилась намертво. Девчонки, которые обзаводились грудью, вступали в пору месячных, носили взрослые колготки из капрона – эти девчонки росли рядом и воспринимали меня таким, каким узнали 1 сентября 1966 года; даром, что тот день был не понедельником, а четвергом.

Хотя я не просто изменился внутренне: поумнел и увидел впереди свое истинное призвание – но и внешне стал другим.

С рождения до университета мать регулярно делала отметки моего роста на косяке той двери, что была снята в моей комнате. И за конец 1972-го – начало 1973-го, в течение седьмого класса, я вырос на 20 сантиметров, достиг роста в сто семьдесят восемь. Это определило меня на всю оставшуюся жизнь, потом я добавил лишь четыре сантиметра. Из малого задохлика я превратился в статного красавца, перегнал даже общего кумира Дербака.

Но девчонки остались дурами, для них я был все тот же «*Леша-калоша*», водиться с которым не позволяло достоинство.

Кроме того, я не участвовал во внеклассных тусовках.

Впрочем, тут я грешу против истины; слово «*тусовка*» пришло уже в университетские, даже не студенческие, а аспирантские времена. Как именовались в моем отрочестве посиделки в подъездах, где парни пили портвейн, брэнчали на расстроенных гитарах и щупали девчонок, я не помню и даже не хочу вспоминать. Просто хочу сказать, что мне были чужды сборища черни.

Сейчас я понимаю это ясным зрелым умом, тогда просто ощущал подсознанием и планов на одноклассниц не строил.

По жизни я был хаусдорфов.

Пояснять понятие не вижу смысла, желающих отправляю к Пэ-Эс Александрову, к его введению в топологию. Просто «*Александров*» математики не говорят, поскольку был и А.Д. и кто-то еще.

Итак, в классе я был чужим среди своих.

Искать даму сердца в эпсилон-окрестности мне не приходилось, я нашел ее на параллельной плоскости.

Моя подружка училась в нашей школе и была двумя годами моложе.

Я появился около нее уже нынешним – высоким и умным. А калош она никогда не носила, видела лишь у Чуковского, даже я застал эти штуки только в первом классе, когда с ними обходились без сменной обуви.

Разница в курсах студентов неразличима, разница в классах школьников эквивалентна различиям поколений.

Эта девочка буквально смотрела мне в рот. Впрочем, я и в самом деле был умнее ее во всех отношениях. Кроме, пожалуй, житейского – но говорить о житейском относительно восьмиклассника и шестиклассницы смешно.

Но при всем том моя избранница физическим развитием опережала свой возраст столь сильно, что со стороны ее принимали за мою ровесницу.

Правда, развитие я обнаружил в процессе отношений. А познакомились мы зимой на улице – то есть в условиях, когда фигура пряталась шубой и ни на что не влияла.

Наш встреча оказалась не романтической. Я возвращался домой и при выходе со школьного двора наткнулся на девчонку, склонившуюся над рассыпанными тетрадками, учебниками, ручками, карандашами, открытками, платочками и прочей дрянью, какой всегда набиты портфели. До сих пор не могу понять, что заставило меня остановиться, подойти и спросить, что случилось и могу ли я помочь.

Она вскинула заплаканные голубые глаза и пробормотала, что ей кто-то нехороший порвал портфель, и теперь все выпало в снег, и она не знает, как донести барахло до дома.

Я был каким угодно, но не злым, девчонка вызвала жалость. И потому помог ей собрать вещи, запихал обратно, сунул себе подмышку безнадежно лопнувший портфель и пошел провожать владелицу домой, благо особых дел у меня не имелось.

Всю дорогу – неполных два квартала – девчонка благодарила меня, потом благодарности зазвучали из уст ее матери, открывшей дверь и предложившей зайти выпить чаю.

Мне стало неловко, я не видел особенного в пустяковом добром деле – покраснев и почти ничего не ответив, я ушел домой.

Однако добрая мать оценила все по-другому: на следующий день девчонка бог знает как разыскала меня в школе и вручила кулек с домашними пирожками. На этот раз она была без шубы, и я как-то ненарочно оценил ее выпуклости.

Надо сказать, что она сама демонстрировала все свои достоинства: и ослепительно круглые колени, и подпирающие фартук млечные бугры – с такой утонченной целенаправленностью, что лишь полный дурак мог ее не рассмотреть.

В сравнении с этой девочкой рассыпались в прах мои одноклассницы; ничего не стоила даже Сафронова, которая своим ляжками заслонила и солнце и луну.

Впрочем, догадка относительно целенаправленности пришла ко мне голову много позже. В тот день я просто смотрел на неожиданную знакомую и понимал, что у нее есть все, чем гордятся одноклассницы, но – в отличие от последних – она не дерет нос.

И что-то говорило, что таким знакомством пренебрегать не следует.

И само собой получилось, что мы пошли в буфет, чтобы съесть пирожки вместе и запить их теплым какао. Что на следующий день я сам – неизвестно зачем – разыскал ее в большую перемену, а еще через день, не уговариваясь, мы столкнулись после уроков в гардеробе и я пошел ее провожать.

А потом делал это уже каждый божий день.

И тоже сам не знал, почему.

Мы не спеша шагали к ее дому по заснеженным улицам и болтали о всякой чепухе, и мне казалось что девочка умна и непроста. Что я встречаюсь с ней не ради голубых взглядов снизу вверх, не из-за титек и коленок – которые на самом деле у нее были до такой степени хороши, что захватывало дух – а потому, что мне с нею интересно. Что мне есть о чем с ней поговорить, погрузиться в ее мир.

Сейчас, в нынешнем возрасте – а главное, в нынешнем состоянии – я понимаю, что с моей стороны не могло быть общих интересов; два года разницы в школьном возрасте стоят двадцати во взрослом.

Все иллюзии были рождены моей тягой к ее телу, которую я, осознавая, не признавал. И пытался оправдать чем-то умственным.

Привычка все оправдывать прежде, чем делать, были вбита в нас русской классикой, всеми этими Тургеневыми, а еще больше – Толстыми.

На самом деле я уже полностью созрел для того, чтобы стать мужчиной.

И готов был последовать Костиному примеру, но следовать было не за кем.

Поэтому все свои помыслы я как-то незаметно сфокусировал на подружке-шестикласснице.

## 4

Итак, встречались мы...

Нет, слово «встречались» не пойдет.

В те времена оно не употреблялось, а в наши означает – «занимались сексом».

В дни моего отрочества говорили «дружили».

Причем слово «дружить» в отношении девчонки несло все возможные оттенки.

Дружить можно было в огромном диапазоне. Практически в интервале от минус до плюс бесконечностей.

Дружбой именовалось и переглядывание через ряд и исследование молочных желез в бюстгальтере.

По большому счету, со своей несостоявшейся невестой Потаповой я тоже дружил. Просто от лихорадочных воспоминаний первого класса остались лишь поцелуи за чайным столом, во время которых я закрывал глаза, а она – нет.

С Капитановой дружба поднялась на более высокий уровень, вплоть до классического несения портфеля. Сам я тогда носил ранец; мать принимала превентивные меры против искривления позвоночника, которое – как однажды пояснила жена – никогда не бывает благоприобретенным, а передается с генами. Но все-таки этот тяжелый, как смертный грех, ранец сослужил службу: выработал у меня горделивую осанку прежде, чем пришла обоснованная гордость собой.

А вот с Таней Авдеенко я и в самом деле дружил, с каждым годом переходя со ступени на ступень.

Я вроде бы решил больше не вспоминать о ней, но, заговорив о дружбе с девочками, не вспомнить не могу.

Портфелей я Таниных не носил, поскольку она жила в другой стороне, а от необходимого мне курса я не отклонялся никогда и ни ради кого.

Но мое отношение к ней поднималось и поднималось.

В третьем классе, когда нас посадили вместе, я по собственному желанию предлагал ей лучшие ластики из своего пенала.

В четвертом я давал ей почитать лучшие книжки из своей домашней библиотеки и почти не огорчался, если какую-то она зачитывала навсегда.

В пятом я всегда имел при себе лишнюю перьевую ручку.

Современный школьник не поймет этих слов, но я напомним, что мы шли по старой советской системе. Учились писать простым карандашом, потом целый год пользовались перьевыми «вставочками» и ходили испачканные, как папуасы. Сейчас это кажется тем более странным, что чернильницы-«непроливайки» с конусовидным жерлом имели одностороннюю пропускную способность и вылить из нее обратно, когда требуется, никому не удавалось. С третьего класса нам разрешили писать автоматическими ручками – правда, почему-то лишь с «открытым» пером. Эти пачкались не меньше перьевых, но писать ими было удобнее. Когда мы перешли в четвертый класс, страна Советов начала массово выпускать шариковые ручки, запатентованные, если не ошибаюсь, в 1888 году и в цивилизованных странах появившиеся с 40-х. Пользоваться ими оказалось еще лучше, они не требовали ежедневной заправки и не пачкались до последнего момента, хотя я долгие годы оставался приверженцем чернил, в ранние профессорские времена имел даже настоящий золотой «Паркер». Но писать шариком не разрешалось по каким-то неясным причинам. Учителя смотрели сквозь пальцы, но Нинель могла в любой момент явиться на любой урок – хоть на контрольную по математике, где отсутствие ручки означало автоматическую «двойку» – отобрать у всех запрещенные «шарики» и вышвырнуть их в окно.

Таня писала шариковой ручкой и о возможных инцидентах не задумывалась, за нее думал я, держал перьевую для нее.

В шестом классе я отщипывал копейки от скудных карманных средств и время от времени угощал Таню любимыми «школьными» пирожными.

Но и это не было вершиной.

Однажды соседка пришла в школу со страшными темными кругами вокруг глаз, каких я у нее не видел. В этот день у нас была физкультура, после разминки Таня ни с того ни с сего упала в обморок. Физрук Алесковский без лишних слов отправил ее домой и приказал кому-нибудь проводить до порога. Я вызвался добровольцем, подождал, пока Таня переоденется в штатское за дверью девчоночьей раздевалки, потом подал пальто, сам застегнул ей сапожки, на себе дотащил до дома и передал на руки какой-то бабушке.

В седьмом, дежуря при гардеробе в рамках классной трудовой повинности, я сам бегал от окна к вешалке и обратно, ей давал сидеть на стуле. Не только потому, что так было удобнее любоваться ее великолепными коленками, просто в тесном помещении отовсюду торчали железки, а моя форма рвалась меньше, чем ее платье.

А в восьмом наша дружба превратилась в нечто вроде теплого супружества, незаметно миновавшего чувственную ступень.

Приходя на первый урок, мы нежно заботились друг о друге. Я подтягивал Тане резинку, которой она собирала пучок на затылке, она поправляла мне загнутые углы воротника.

Однажды я совершил почти интимный акт: заметил, что соседкин фартук сзади застегнут неправильно, перестегнул, а после этого поцеловал ее душистые волосы.

Вершиной наших отношений – уже после того, как я застал Таню с Дербаком – стали наши обычные дежурства по классу.

На них всегда назначали парами парней и девиц, даже если они сидели на разных партах, а соседи всегда дежурили вместе.

Само дежурство распадалось на хлопоты во время уроков: подготовку доски и наглядных материалов, обеспечение учителей журналами, общий порядок – и обязательное мытье полов после окончания смены. Последний этап у всех заключался в том, что парень сидел на подоконнике, а девчонка убиралась: так полагалось в стране, где женщины клали асфальт, а мужчины лазали по горам.

Я откуда-то: то ли из журнала «Здоровье», который выписывала мать, то ли из одноименной телепередачи – знал, что девочкам нельзя поднимать тяжести, поскольку это сказывается на их будущем женском здоровье. И я не давал Тане носить ведро с водой, не позволял даже передвигать его по полу.

Это являлось из ряда вон выходящим, поскольку наш класс – кабинет русского языка – находился в одном конце коридора и примыкал к девчоночьему туалету. А мальчишеский, где когда-то хвастался звездами Дербак, лежал в другом, и до него было метров сорок, если не пятьдесят. Но я таскал оттуда неподъемное ведро, пока мы не догадались, что Таня может покарать в коридоре, а я набрать воды в пустом туалете у девчонок.

А перед началом экзаменов мне однажды почудилось, что один из одноклассников, поганый мухортый недомерок, ее обидел. Я, тогда уже почти ставосьмидесятисантиметровый, подошел и молча ударил его в лоб – так сильно, что он отлетел, упал и поднялся не сразу. При том, что в жизни я никогда не дрался.

Вероятно, такой уровень отношений, на котором мы расстались с Таней, побудил меня ехать с водкой к доброму пьянице Мухамату. Ведь попроси меня о своем долбаке сыне какая-нибудь Сафронова или Гнедич, я бы и пальцем не пошевелил.

Но дружба с Таней осталась на уровне, лишенном страстей.

А вот с моей девочкой мы дружили, постепенно двигаясь именно от минус до плюс бесконечности.

Это длилось почти целый год.

Точнее – семь месяцев, две полных четверти, чуть-чуть от еще одной и месяц моих переходных экзаменов.

Срок, огромный по масштабам школьных отношений, которые меняются со скоростью небесных светил.

## 5

Конечно, дружба между мальчиком и девочкой... мягко говоря, редко является платонической.

Обычная, не наполненная чувственностью дружба может быть лишь внутригендерной; это я понимал даже тогда.

Ведь относясь к Тане как к другу, даже в восьмом классе при дежурстве, оберегая от ненужных нагрузок ее органы малого таза – как могу выразиться сейчас, подкованный женой-медиком – я все-таки ждал минуты, когда по завершению дел она будет приводить в порядок одежду.

Отойдет в угол класса, поднимет черный фартук и подол коричневого платья и подтянет спустившиеся колготки, быстро показав что-нибудь, не предназначенное для чужого глаза – например, трусики: то черные, то белые, то красные, то в горошек.

Таня, несомненно, видела, что я все вижу, но делала вид, что не видит ничего. Вероятно, сама она расценивала зрелище как плату за заботу о ней.

Ведь одноклассница душой не была; к дуре типа моей матери, вероятно, Дербачки в школе не приставали.

Для дружбы требуется нечто более важное, чем наличие предмета, который в моем детстве назывался то писклой, то пиписклой, то ненормативным словом.

У меня не могло найтись ничего общего с массой своих одноклассников. Не только с полнотой от мороженым Дербачком, но и с относительно нормальными ребятами.

Ведь я внутренне горел математикой, а их интересовали только спортивные игры, да патлатые трясунки с гитарами, из которых самыми приличными были «*Битлы*». А я даже у Ливерпульской четверки любил и принимал всего лишь три-четыре песни.

Моим другом в течение нескольких месяцев был Костя. Какое-то время мы составляли единое целое, поскольку у нас имелось объединяющее начало.

Но эта дружба сверкнула и пропала, второго Костю было искать бесполезно.

Тогда мне казалось, что без Кости я пропаду. Но теперь понимаю, что и с ним у нас бы долгой содержательной дружбы не получилось.

Ведь его либидо отличалось повышенным уровнем; с созреванием гормонов он не видел ничего, кроме женских тел, которыми хотел обладать, сначала умственно, потом физически, мучимый одновременно и желанием и презрением.

Его отношение к женщинам мне кажется потребительским, хотя оно сформировалось не по его воле.

Во всяком случае, я полагаю, что ведер бы он Тане не таскал.

А я оказался обычным человеком, нормальным мальчишкой в простом смысле слова.

Женщины не стали для меня ни религией, ни проклятием.

По крайней мере, так кажется сейчас.

Испытав в соответствующем возрасте гормональный всплеск, я изучил себя, потом ударился в самонаслаждение, прошел фетишизм, фантазии, все прочие стадии.

Однако через некоторое время испробованное приелось.

Место имитированного секса заняла математика, подпитанная мыслями о будущем, которое придвинулось ближе.

Но гормоны никуда не ушли, они продолжали бурлить в моем существе, ведь я был здоров и полон сил.

Но теперь меня не тянуло работать над собой, запершись в душном туалете перед рисунком, изображающим Таню Авдеенко.

Хотелось почти того же самого, но подпитанного чем-то реальным и возвышенным.

И со мной произошло то, что случается с любым юным существом: я влюбился.

## 6

Любовь – на мой жесткий математический взгляд – прежде казалась мне столь примитивным явлением, что о ней было смешно говорить, а писать, так и вообще невозможно.

Силу любви по-настоящему я испытал в зрелом возрасте – когда я понял, что люблю свою жену до такой степени, что ради ее блага готов уничтожить все человечество. Но этому способствовали обстоятельства, которые ни с какой точки зрения нельзя назвать благоприятными.

Это я, возможно, еще вспомню, хотя все то слишком тяжело вспоминать.

Но и сейчас мне кажется, что любовь не имеет рационального зерна в своей основе.

Мальчишкой, разумеется я не задумывался о сути этого чувства.

По крайней мере, до определенного момента.

На уроках литературы я часто вспоминал Костины отчаянные слова о том, что принятое эпохами обожествление женщины есть страшная ложь. Высказав наболевшие мысли, мой друг одним движением растоптал само понятие платонической любви и заявил, что единственное право на существование имеет любовь плотская.

Впрочем, проблемы такой любви в советской школе семидесятых годов не обсуждались, школа была бесполой.

Плотской любви у советских людей как бы не существовало.

Заговорить о ней всерьез было столь же опасно, как сейчас во всеуслышание заявить, что «*Властелин колец*» – дрянная книжонка, для которой даже место в туалете слишком почетно.

Но платоническая любовь в своей общественной значимости поднималась выше стратосферы и мальчикам было положено влюбляться.

Причем, по большому счету, все равно в кого: наши чувства – те, о которых возвышенно писала русская классика – оставались неразвитыми.

Девчонки с определенного момента оказывались распределенными среди одноклассников.

Тогда Россия еще не опустилась в нынешнюю демографическую яму; парней хватало, из-за девиц порой дрались, причем всерьез, как за какие-нибудь нефтяные скважины.

Сейчас мне это кажется смешным.

Во всяком случае, я твердо считаю, что отроческая платоническая любовь есть временное помутнение рассудка с концентрацией на одном человеке без всяких на то оснований.

Само понятие «*платонической любви*» мне кажется бессмысленным.

И вредным, как добрачное целомудрие.

Оправдать любовь может лишь ее биологическая суть, с которой все и начинается.

Вот ее-то, этой сути, было в нас достаточно, она заставляла влюбляться.

Влюбляться неразумно, поскольку школьное «*рыцарство*» с тасканием портфелей без достижения чувственного результата сейчас кажется мне глупостью.

Правда, тогда про свою любовь я бы не сказал, что она глупая.

С земной точки зрения мой предмет являлся достойнейшим из достойных, был совершеннее французских киноактрис.

Ну и сам я находился в стадии благополучного поглупления.

Ходил, как дурачок с разинутым ртом, и искренне верил, что нет на свете девчонки лучше, нежели моя избранница.

Нет лучше потому, что лучше не может быть.

А факт того, что при одном лишь приближении к предмету любви у меня начиналось... скажем так, элементарное томление плоти – этот факт казался второстепенным и даже случайным.

Наверное, так и должно было быть в юношеском возрасте.

Это заложено природой.

И бывает всякий раз, когда разумный человек ураганно влюбляется.

Хотя ко всему сказанному стоит добавить «*возможно*», поскольку иногда мне кажется, будто я не уверен в том, что говорю.

## 7

Сейчас я пишу о той любви снисходительно; как ни стараюсь я стать тем мальчишкой, в прошлое сквозь опыт лет пробивается «я» нынешний.

С высоты возраста мальчишеская школьная жизнь кажется элементарной, словно уравнение линейной регрессии при условии, что эмпирический коэффициент корреляции приближается к единице, упираясь в правый конец шкалы Чеддока.

На самом деле школьная жизнь была в тысячу раз запутаннее и тяжелее, нежели жизнь взрослая.

Детство стоит сравнить не с временем безграничных возможностей, а с тюрьмой.

Именно с тюрьмой или колонией строгого режима, поскольку никогда, кроме как в детстве, человек не бывает столь зависим от внешних причин – от мира взрослых, чью волю он не в состоянии переломить.

Возможно, не у всех этот период проходит подобным образом; здесь кроется потаенная глубина: человек должен вынести унижения детства, чтобы понять, что жизнь не увеселительная прогулка.

Но что касается средней школы...

Я не стану говорить о неуставных отношениях между здоровенными полубандитами и детьми приличных родителей, которые при советской системе были вынуждены учиться в одних и тех же классах. Это особая тема, развивать ее можно безгранично. В какой-нибудь Англии или Швеции мы с Дербаксом вообще бы ходили по разным улицам, писали в разных туалетах и дышали разным воздухом.

Я содрогаюсь при воспоминании об учителях, которые держали ту школьную зону. Ведь там и отношение в семье и сама моя судьба могли зависеть от записи в дневнике, сделанной каким-нибудь ничтожеством – военруком, пришедшим с похмелья в плохом настроении.

Теперь я знаю, что врожденные садисты подсознательно стремятся стать учителями или милиционерами.

Последними становятся даже реже; там все-таки можно получить пулю, а власть учителя над учеником при абсолютной неограниченности абсолютно безопасна.

Отклоняясь от прямой повествования, скажу пару слов про 114-ю школу.

Эта школа надежд в общем не оправдала.

Нет, конечно, контингент оказался благоприятным; об уродах типа Дербакса или проститутках вроде Горкушиной тут не приходилось говорить. Но учителя оказались хуже, чем прежде.

В школе №9 учителя не зверствовали, они просто отличались безразличием ко всем нам в совокупности.

Относительно нашей математички все было ясно; ее предмет я знал лучше, чем она.

Наша классная литрусичка – «Алина из гуталина» – следовала параграфам советского учебника. Если бы не дедова библиотека, после нее я возненавидел бы литературу на всю оставшуюся жизнь.

Физик Моисей Аронович кое-чему учил, даже довольно интересно, но больше всего любил красоваться на подиуме амфитеатровой аудитории, прямо на уроке раскуривая трубку, поворачиваясь то в фас, то в профиль. До 1973 года он имел кличку «комиссар Жюв», но тогда физику у нас вела другая учительница. В нашем восьмом классе он был Мюллером, поскольку имел сходство с киношным группенфюрером, это знал и подчеркивал знание. Ароныч, несомненно, являлся умным и харизматическим человеком, но ему до смерти надоела и эта школа и сама физика. Выйдя на пенсию он, кажется, уехал в Израиль.

Хромой историк, перманентно пьяный Василий Петрович, то и дело выкрикивал: «*Анилюс Австрии*!» – хотя этих слов никто не понимал, поскольку тему проходили в десятом классе. Я узнал, заглянув в Большую Советскую Энциклопедию, но не брал в толк, к чему он это повторяет. Кроме аншлюса, Васю волновала лишь грудь Евгении Михайловны, благо кабинеты истории и географии находились дверь в дверь.

Сама географиня не учила ничему, поскольку география во времена СССР была бессмысленной. Благодаря учебе у Евгении Михайловны я мог ткнуть указкой в дельта-окрестность Лондона, но до определенного возраста полагал, что из нашего уральского города до Челябинска дальше, чем до Новосибирска.

Химичка Эмма Сергеевна сама ничего не знала, наши контрольные работы никогда не проверяла, потому что в нужный вечер у нее дома всегда случалась авария со светом. Во время последней встречи Таня говорила, что от квалифицированного «предметника» Эмма скатилась до учительницы младших классов, что было аналогично тому, как если бы математик пошел преподавать на военную кафедру.

Физкультурник Алесковский – который, помимо звучной фамилии, имел соответствующие имя-отчество «*Владимир Ксенофонович*» – был в общем неплохим человеком. По крайней мере, никогда не доканывал своим предметом тех, кого спорт не интересует – не заставлял девочек плющить промежность на «*козле*», не унижал парней, у которых не получается «*выход силой*» на турнике. Он, кажется, понимал, что физическая сила есть атрибут недоумков; даже на лыжных уроках в парке Якутова не мучил кроссами вокруг Солдатского озера или какими-нибудь четырехшажными ходами, хотя сам все знал и умел. Но, как ясно теперь, единственным интересом его жизни были упругие попки старшеклассниц, за которые можно подсаживать на кольца, брусья, турники и те же «*козлы*». Жизнелюба Алесковского я не осуждаю; ради всего этого и идут в физруки.

Да и вообще, в определенном возрасте я понял, что главным в жизни являются не научные открытия, не ученые степени и звания, не костюмы из крученой шерсти и не финские пуховики за сорок тысяч, не автомобили с памятью водительского сиденья и трехзонным климат-контролем и даже не возможность выбора между филе тунца и конечностями камчатского краба для закусывания «*Курвуазье XO*»... хотя его морепродуктами не закусывают, хороший коньяк вообще не требует закуски. Главной ценностью являются женские попки, а если они перестали волновать, то жить дальше незачем.

Причем, подчеркну особо, обладать достаточно одной – но радоваться нужно всем.

«*Сиквелом*», как выразились бы теперь – или продолжением ряда динамики на основе неблагоприятного прогноза – Алесковского являлся учитель труда, знойный красавец Игорь Игоревич. О нем ходили темные слухи, говорили, что раньше он был не то химиком, не то физиком в какой-то хорошей школе, но благодаря ему «*проглотила мячик*» десятиклассница. Наружу мячик вышел после того, как девица получила аттестат зрелости и формально к школе не относилась, это спасло Игоря Игоревича от статьи. Но тем не менее в табели о рангах он понизился до нуля, сумел устроиться лишь в нашу микрорайонную клоаку, и то лишь трудовиком. Превратности судьбы сделали его конченным неврастеником; Игорь Игоревич был непредсказуем. Он то мог весь урок рассказывать истории из своей студенческой жизни в Уральском университете, то за какой-нибудь оброненный напильник выгонял весь класс чистить хоккейную коробку, где из-под льда уже виднелся асфальт.

Англичане – Яков Андреевич и Вячеслав Леонидович по кличке «*Лёна*» – были просто полудурками, о них нечего говорить.

Самым позитивным, человечным и ровным являлся Махорка. Аронич-Мюллер был весьма разборчив в отношениях, из всех учителей дружил только с ним, и это говорило о многом. Но, увы, уроки пения закончились в пятом классе.

Вершиной всем служила директриса Нинель. Женщина, могучая не только телом, свой конструктив она направила не в то русло: на борьбу с шариковыми ручками и воспитание Дербака. Хотя на самом деле этими ручками все равно все писали в быту, а главного хулигана стоило сплавить в спецшколу для *«трудновоспитуемых»*, такая в нашем городе имелаась.

Правда, в младших классах я успел застать прежнего директора, доброго татарина Акрама Барыевича. Но, как и все историки советских времен, он был горчайшим пьяницей. Подобно моему приятелю поздних времен, ректору Мухамату, Акрам безвылазно сидел в своем кабинете, я видел его всего раза три. Даже первые сентября за директора проводила завучиха, биологичка Тамара Ивановна, которая его и подсидела. Но директором не стала, ГОРОНО прислало толстую Нинель, саму *«царицу Тамару»* за что-то уволили, на предмет взяли Валентину Васильевну.

Та запомнилась лишь утверждением, что все мы – *«пеньки с глазами»*.

Злобная Валентина Васильевна долго не продержалась, ее место заняла аккуратно причесанная Роза Гиниятовна. Эта была пустым местом.

Теплоты мои первые учителя не вызывали, но и особого неприятия тоже; школу №9 я ненавидел из-за одноклассников.

В 114-й все оказалось наоборот.

Там учителя сами себе казались небожителями, а нас считали недоразвитыми – кем-то вроде говорящих мангуст, случайно зачисленных в разряд людей.

Но это меня не сильно волновало: я занимался математикой и мне никто в этом не мешал.

Отклоняясь еще сильнее, скажу, что школа №114 все-таки преподнесла мне сюрприз: придя в свой новый 9 «В» класс 1 сентября 1974 года, я увидел там Ирочку Альтман.

Я поразился скрытности этой девочки: мы вместе учились восемь лет, вместе сдавали экзамены и вместе получали свидетельства о неполном среднем образовании. Но я ни сном, ни духом не ведал, даже не догадывался, что она тоже переходит в математическую школу.

Увидев ее, я обрадовался, да и она тоже улыбнулась. Учителя в новой школе за порядком не следили, соседей не назначали, все рассаживались по своему усмотрению, и мы устроились с Ирочкой.

Так мы и просидели два последних года средней школы – правда, не за первой партой, а за второй во втором ряду – точка отсчета для которого не имела значения, поскольку рядов было всего три и второй оставался вторым с любой стороны.

Выяснилось, что Ира тоже училась в заочной школе, только не при МГУ, а при МФТИ – Московском Физико-техническом институте, культовом ВУЗе советских времен. Она всерьез собиралась стать физиком и даже приватно занималась с Моисеем Ароновичем.

Ира Альтман была не только умной, но, как я уже говорил, ужасно красивой, *«самой красивой девочкой школы №9»*.

При возможности применить единые критерии я бы классифицировал Иру как не просто самую красивую, а бесконечно красивую девочку школы №114, поскольку назвать моих новых одноклассниц мартышками означало обидеть мартышек.

Но ее красивой никто не аттестовал, потому что в этой школе парни смотрели не на девочек, а в журнал *«Квант»*.

Я простенький журнальчик для олимпиадных умников пережил еще в седьмом классе, а сами олимпиады до сих пор считаю пустой тратой времени. В девятом я читал такие книги по высшей математике, что даже их названия не понял бы ни один учитель.

Однако и у меня с Ирочкой ничего, кроме разумного соседства по парте, не возникло.

Ирина Альтман в новой школе до самого выпуска держалась особняком и я не являлся исключением.

К тому же мои мысли и помыслы и все прочее были заняты другим. Ведь летом между школами в моей жизни случились события, которые изменили меня жизнь, причем кардинально.

Сама Ира была холодноватой, от нее никогда не пахло ничем, кроме польских духов «*Быть может*», весьма популярных в те времена.

После школы она, как и планировала, поступала в МФТИ, но не поступила, потому что в СССР евреев уже начали зажимать. Где она училась после бесславного возвращения в родной город, я не знаю; но слышал от кого-то, что позже, в начале восьмидесятых, их семья уехала в Израиль.

Примерно та же участь постигла дочь лучшей учительницы 114-й школы – математички Эсфири Бенционовны Коблер.

Ее Белла была страшна, как Хиросима утром 7 августа 1945 года, но в школьной математике равнялась мне – пожалуй, даже превосходила. В отличие от меня, она участвовала во всех околоспортивных мероприятиях, в десятом классе стала победительницей областной олимпиады – а это в нашем городе, где уже тогда имелась академическая школа комплексного анализа, значило много.

Мы друг другу ненавязчиво симпатизировали, но не дружили.

В 114-й школе я не дружил ни с кем вообще, слишком занятый математикой, к тому же Белла была совершенно не в моем вкусе; сложенная по-мальчишески, она имела самый длинный нос из всех виденных мною в жизни.

На выпускном балу я обратил на нее внимание, но не потому, что она мне вдруг понравилась, а совсем наоборот.

Девчонки пришли разряженные в прах, моя соседка Ира Альтман молча давила всех своей неземной красотой. Белла Коблер пришла в белом платье с открытой грудью, хотя ей было нечего открывать. Она казалась несчастной маленькой птичкой, случайно залетевшей на шабаш хищников – и на нее никто не обращал внимания. Мне стало жалко Беллу почти до слез; я пригласил ее на первый танец, так и танцевал только с ней всю угарную ночь до утра. Некрасивая одноклассница радостно прижималась ко мне, и я чувствовал, что поступаю правильно.

Ведь мне было все равно с кем танцевать, в школе по ряду причин меня не интересовал никто – а ей мое внимание доставляло удовольствие.

Белла получила золотую медаль – обогнала меня, поскольку еще раз выйти на уровень классического отличника я не успел, занятый делами более важными, чем зарабатывание оценок по какой-нибудь истории с географией. В том же 1976 году она поехала поступать – не в Москву, а в Ленинград, на математико-механический факультет университета. Я знал, что Белла Коблер в решении конкурсных задач превосходит составителей, но за письменную математику ей поставили «*четверку*», и даже Эсфирь Бенционовна, приехавшая поступать вместе с дочерью, ничего не смогла доказать апелляционной комиссии. Закон об одном экзамене для медалистов в отношении одноклассницы не сработал, ей пришлось мучиться дальше: иди на устную математику, писать сочинение, сдавать еще какую-то дрянь – кажется, физику. На каждом из этих «*испытаний*» Белке тоже занизили всего по баллу, но этого хватило, чтобы она не прошла по конкурсу. Мать отвезла ее в Петрозаводск, где тоже имелся университет, но антисемитизм туда еще не докатился.

Эти перипетии я узнал осенью от ее подружки, нашей одноклассницы из сто сорокачетырнадцатой школы, которая поступила вместе со мной.

Однако получила ли Белла диплом Петрозаводского университета или завершила свое образование в штате Мэриленд, мне до определенного времени было неизвестно.

В любом случае ни ей, ни Ире жизнь наверняка не казалась безоблачной.

Умнее всех поступили родители единственного моего приличного одноклассника по школе №9 Жени Циклиса. О том, что еврею в России делать нечего, они поняли вовремя; Женя исчез уже в четвертом классе. Я, правда, не знаю, как сложилась его жизнь. Возможно, он делает вид, что лечит эндометриоз у арабских жен в какой-нибудь Эйлатской клинике – а может быть, толкает тележки в аэропорту «Бен Гурион».

Но он не пережил унижений, которым подвергаются потомки Сима в стране, населенной отпрысками Хама.

Перед тем, как перейти, наконец, к воспоминаниям о главных переменах, отмечу некий итог воспоминаний: две моих школы, №9 и №114, убедили в том, что все педагоги суть люди дефективные.

Единственно известное мне исключение лишь подтверждало правило.

Этим исключением была...

Впрочем, до нее я еще не дошел.

Пока лишь отмечу, что, возненавидев учителей как категорию, в своей собственной педагогической деятельности я действую по методу «от противоположного».

То есть в любой сомнительной ситуации прикидывал, как поступил бы кто-то из моих школьных учителей, и делал наоборот.

Конечно, высшая школа – не средняя, тут отношения между сторонами баррикады не столь обусловлены и отличаются больше сложностью связей. Но и в университете бывают разные преподаватели.

Я не застал одного доцента математического факультета: в мои времена он уже почивал на пенсии – но из разных уст слышал одну и ту же историю. Однажды студенты после экзамена в складчину купили гроб и ночью поставили на крыльцо деревянного дома, в котором он жил.

Сейчас времена изменились; я не знаю ни одного университетского преподавателя из частного сектора, который остался существовать лишь на окраине, где живут не доценты, а социальные отбросы. К тому же купить гроб просто так, без медицинского заключения и свидетельства о смерти, теперь тоже нельзя.

А мои студенты тоже как-то раз «скинулись» и после защиты дипломов подарили мне авторучку «Паркер» с золотым пером, который стоил, если не ошибаюсь, двадцать или даже двадцать пять тысяч рублей.

Как любит повторять один из моих приятелей по университету, доцент Коля Жуков с кафедры иностранных языков для естественных факультетов, *feel the difference*

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.